



ШАРЛЬ  
ДЕ КОСТЕР  
БРАБАНТСКИЕ  
СКАЗКИ  
НОВЕЛЛЫ

ТЕКСТ

Charles De Coster

**CONTES  
BRABANÇONS**



Шарль де КОСТЕР

**БРАБАНТСКИЕ  
СКАЗКИ**

*Перевод с французского  
Дмитрия Савосина*

МОСКВА «ТЕКСТ» 2010



УДК 821.133.1  
ББК 84(4Бел)  
К72

*Издательство благодарит  
Французское сообщество Бельгии  
за помощь в издании этой книги*

ISBN 978-5-7516-0809-5

© «Текст», издание на русском языке, 2010

## БРАФ-ВЕЩУН

### I

Домбург — это маленькое поселение на западном побережье острова Вальхерен. Из всех своих собратьев, поселков Зеландии, столь неблагоприятных по причине холмистого рельефа и беспрестанных наводнений, он один из самых несчастливых и подверженных бедам, кои несет стихия. Однажды его подчистую уничтожил страшный пожар; едва он успел возродиться из пепелища, как на него ополчилось море, поглотившее добрую половину его построек: ныне все они спят мертвым сном под песками; тогда Домбург отступил за дюны и там отстроился снова; все, что осталось от него в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году, — это один длинный ряд опрятных кирпичных домиков, выстроившихся на главной улице, а их двери, ставни, косяки и поперечные балки затейливо расписаны серой, зеленой или красной краской.

Домбург — местечко курортное, зажиточные господа с острова, а часто и из других мест любят приезжать сюда, чтобы искупаться в водах Северного моря, Домбург предоставляет им пристанище в очаровательных постоянных дворах, окруженных деревьями и потому имеющих облик вилл. С вершины самой большой дюны виден весь остров Вальхерен, похожий на плывущий по морю букет.

## II

Иозефус Херманн, родом из Гента, жил на главной улице поселения с дочерью Анной. Херманн принадлежал к той породе коренастых и крепких мужчин, которая так часто встречается в наших фламандских городах: ему, сильному и доброму, вполне подошло бы прозвание человека еще и благодушного. Сердить его, однако, было опасно: одного матроса, попытавшегося в его присутствии насильно поцеловать Анну, Херманн просто вышвырнул в окно. У шестнадцатилетней Анны были карие с золотым отливом глаза и белокурые волосы, а ее прелестные юные девичьи формы наверняка вызвали бы восторг воображения у алчущего красоты скульптора: кровь под тонкими тканями ее плоти струилась так нежно, что кожа всегда казалась будто подрумяненной лучом восходящего солнца.

Спутником Анны обыкновенно бывал Браф, большой белый ньюфаундленд. Какой-нибудь поэтической натуре под личиной Брафа, пожалуй, вполне могла пригрезиться очарованная душа, так задумчивы, глубоки и полны тайных мыслей были его глаза. Браф чуял врага там, где ни Анна, ни Херманн ничего не замечали; он изобличал его глухим рычанием, оскалом и неукротимым лаем; Херманн и Анна имели право приветить и полюбить только тех, к кому Браф подбегал и ластился: однако и отец, и дочь подчас не понимали, почему их пес выносит те или иные суждения; тогда Браф растягивался у камелька и там, положив на мощные лапы приунывшую морду, казалось, говорил: «Эх! Уметь бы мне говорить по-голландски, уж тогда я бы доказал им, что бедная псина лучше них разбирается и в людях, и в жизни вообще».

Прежде Браф принадлежал шурина Херманна, офицеру «Human Society of London»\* по спасению потерпевших кораблекрушение на берегах Уэльса. Каждому известно, как важно в подобных опасных экспедициях участие собак породы, к коей принадлежал и Браф; ну а он-то справлял свою службу выше всяких похвал.

---

\* Здесь — «Лондонская служба спасения» (англ.).  
(Здесь и далее примеч. переводчика.)

Сестру офицера, жену Херманна, внезапно сразила опасная болезнь; она отправила письмо брату, и тот возвратился к ней из Ливерпуля; но слишком поздно, так и не успев сказать последнее прости той, кого уже забрала смерть. Вышеупомянутый брат обустроился в Домбурге, где вскоре тоже умер от горя и лихорадки; Анна унаследовала его собаку вместе со всем хозяйством.

### III

Херманн был задумчив в тот июньский вечер.

— Анна, — говорил он дочери, — уже давно моя голова белее снега; стоит только этому кладбищенскому узору украсить ее, как следом выпадают волосы, а потом приходит пора умереть; время подумать о твоём замужестве, дитя мое. Смерть, — продолжал Херманн, — подобна грозе: сначала, сколько ни смотри в лучезарное небо, видишь там только ослепительно сияющее солнце и разве что крохотное черное пятнышко, ничто, безобидное темное облачко, но мало-помалу оно растёт, становится громадным, вбирает в себя все тучи над землей и над морем, и вот уже солнце гаснет, и повсюду, где ещё так недавно сиял ясный свет, простирается мрак. Так и у нас с тобою, дитя мое, ведь крохотная черная точка и есть...

Тут Херманн перебил сам себя.



— С чего это, — сказал он, — так разволновался наш пес? Взгляни только, он подбегает и отбегает, глядит на меня, поднимает уши, прислушивается, прильнув к полу, шумно дышит. Правду, что ли, сказывают, будто говорить о мертвых все одно что обращаться к привидениям, а рассказывать о грозе — вызывать бурю? Браф просится на улицу, этому уж точно есть причина; давай-ка выпустим его.

Херманн отворил дверь. Браф стрелой помчался к морю.

— Что за дьявольщина! — снова сказал старик. — Ты что-нибудь слышишь? Или видишь?

— Нет, — ответила Анна.

Херманн и его дочь встали на пороге; они прислушивались, вглядываясь во мрак: деревня спала, пробило десять часов вечера, улица была пустынна, а ночь светла; дул колючий ветер, и уже падали первые крупные капли близкого дождя; безмолвие нарушали только поскрипывание нескольких флюгеров, вращавшихся на ржавых железных крюках, и глухой и монотонный шум бьющегося о берег прибоя.

— Отец, отец, — вдруг воскликнула Анна, — я слышу звуки выстрелов! На море несчастье, горемычные люди попали в беду и просят о помощи! Господи! Неужто это тот доктор и трое господ, что утром вместе отправились поохотиться на чаек! Мне кажется, я слышу их

крики, а это лай Брафа! О! Какой ужас! Они, видно, неосторожны: так смеялись сегодня, что чуть не перевернули свою шляпку... Особенно один из них, красивый юноша в охотничьей куртке!.. Отец, отец, надо поспешить им на помощь!

#### IV

Херманн не нуждался в советах дочери, чтобы стремглав броситься исполнять свой долг: она еще и не договорила, а он уже обувался. Потом разжег фонарь и помчался во весь дух. Добежав до вершины дюн, он услышал выстрелы и крики, зазвучавшие с удвоенной силой, едва стал виден свет фонаря на берегу. Херманн быстро направился к месту, откуда они доносились. Он повесил фонарь на прихваченный на всякий случай с собою железный крюк, вбил крюк в песок и по пояс вошел в воду; тут до него явственно донесся шум весел и голос, отчаянно зывавший:

— Человек упал в воду, слева от тебя, скорее! Спасешь — получишь пятьдесят флоринов!

Херманн уже скинул куртку и был готов броситься в море, как вдруг услышал в нескольких саженьях от себя прерывистое дыхание и, взглядевшись, увидел, как на гребне вздымающейся волны какая-то белая фигура волочит что-то черное; оба плыли прямо к нему. Он узнал

своего пса, Брафа, который уже вытаскивал человека на берег.

Осматривая утопленника, Херманн закричал что было сил:

— Сюда! Сюда, господа! Ваш друг уже не в воде; возможно, он спасен. Да будет благословен Господь!

— Bravo! — донесся крик из шлюпки. — Bravo и спасибо!

— Гребите, — крикнул Херманн, — гребите на свет фонаря, и я вытащу на берег вашу ореховую скорлупку. — Немного времени потребовалось для этого Херманну. Из шлюпки вылезли четверо мужчин. У всех был удрученный вид, особенно у доктора, который, впрочем, всячески старался приободрить своих друзей. Он принял фонарь из рук Херманна и поднес его к лицу утопленника.

Бегло осмотрев его, он промолвил:

— Возможно, мы спасем его, он умеет плавать и, должно быть, недолго пробыл в воде; но надо поторопиться! Итак, господа, берем Исаака кто за голову, кто за плечи, кто за ноги и быстренько тащим его на ближайший постоянный двор.

Сказано — сделано; ближайшим постоянным двором был «Schutter's Hof»\*, и Херманн помог доставить утопленника туда.

---

\* «Охотничий двор» (флам.).

Исаак де Вильденстеен — ибо так звали господина, только что вытасченного из моря, — лежал теперь на столе, простертый во всю свою долговязость: доктор приказал раздеть его, растереть и набить в ноздри крепчайшего табаку, который обыкновенно служил каждодневным удовольствием хозяину «Schutter's Hof», теперь всю помогавшему этой суровой экзекуции своими советами. Исаак, которого добрые четверть часа скорее скребли и колотили, нежели растирали, построил жуткую гримасу, после чего несколько раз оглушительно чихнул.

— Спасен! — сказал доктор, протягивая Херманну банкноту в пятьдесят флоринов.

— Возьмешь да спрячешь, — возразил тот, — а потом, чего доброго, и заплачешь.

— Тогда я велю наградить тебя медалью, — сказал доктор.

— Я повешу ее на шею Брафу, — откликнулся Херманн, уже отправляясь домой, где нашел дочь свою бодрствующей и встревоженной и сообщил ей, что ее красивый охотник и в самом деле тонул в море, но с Божьей помощью при участии Брафа его вовремя вытащили.

— Поистине наш Браф умное существо, — ответила Анна.

## VI

У Исаака де Вильденстеена был довольно своеобразный характер, он был красив, богат, еще вполне молод, отнюдь не подл, он умел ловко оплести любезными словесами женщин определенного толка, предпочитал верить скорее рассудку, чем сердцу и мог бы стать неотразимым донжуаном, не отличайся он трусоватостью: однако он был из тех хорохорящихся будуарных петушков, которые любят хвалиться красотой гребешка, при том что шпоры у них слабоваты, и предпочтут воздержаться от тех любовных побед, из-за которых могут быть ранены по вине чьих-то прекрасных глаз: наверное, он и женился бы разве что для того, чтобы избежать ударов шпагой, а то и палкой от отца, желавшего отомстить соблазнителью за позор обманутой дочери.

Как-то раз, одним прекрасным июньским утром, яркий солнечный свет струился через три оконца в длинную залу, где обычно сиживали Херманн и Анна; Херманн, устроившись под каминным колпаком, читал Библию, Анна шила у окна; в очаге дымились несколько кусков торфа, над камином чирикал щегол, старый попугай подражал карканью ворона и громко скрипел клювом, чистя его о прутья стоявшей на столе клетки. Браф, дремавший у ног Анны, издавал громовой храп. Вдруг он вскочил, за-



рычал и кинулся к дверям: кто-то постучал. Херманн крикнул: «Входите!» На пороге показался красавец Исаак. Сперва его, казалось, устрошил вид такой огромной собаки; однако Херманн подозвал Брафа к себе, и тогда Исаак вошел в залу: с явным удовольствием посмотрев на Анну, он грациозно поклонился и отвесил ей замысловатый комплимент, Анна же, вся покраснев, и на приветствие и на комплимент ответила лишь кивком головы; после этого Исаак повернулся к Херманну и, объяснив цель своего визита, горячо поблагодарил своего спасителя.

— Честь быть вашим спасителем, — сказал Херманн, — принадлежит Брафу.

— Так мне и сказал хозяин трактира, — ответил Исаак и протянул руку, чтобы погладить Брафа. Однако это проявление внимания вовсе не пришлось Брафу по душе — он едва не укусил Исаака, за что получил пинок от Херманна. Казалось, он очень этому удивился, обиженно удалился и улегся прямо в золу, положив морду на лапы, однако не переставал следить за Исааком угрожающим взором и рычал, стоило тому открыть рот.

Херманн поднес Исааку стаканчик светлого пива — тот выпил.

Беседа оживилась, Анна была весела, краснела и говорила с необычной словоохотливостью: Исаак видел, что он ей отнюдь не неприятен; вдруг смутная мысль поразила его, и он

остановился на середине фразы, чтобы спросить у Херманна, вправду ли одному матросу пришлось уносить ноги из его дома через окно? Херманн и Анна, улыбаясь, подтвердили: да, и от их улыбок Исаака передернуло. Когда он уходил, Браф, не обращая внимания на его недовольство, протрусил за ним до самых дверей.

## VII

Яркая красота Анны не преминула произвести впечатление на его легко увлекающийся разум: Херманн держал маленький магазинчик, где продавались ликеры и пряности, так что у Исаака была возможность часто видаться с юной девушкой. Он мог беседовать с ней по два или три раза в день, то в присутствии ее отца, а то и наедине; в последнем случае он не раз пытался проявить предприимчивость, но неподкупный Браф не покидал комнаты хозяйки. Казалось, пес превратился в хранителя чести молодой барышни, ибо стоило только Исааку, сооротив любезную мину, взять ее за руку, как пес принимался рычать с таким видом, будто сейчас вцепится ему в горло. Исаак много раз умолял Анну посадить на цепь столь неудобного приятеля, но она и не подумала этого сделать.

Прошло два месяца; Анна влюбилась в Исаака, Исаак влюбился в Анну, но на свой манер:

он не способен был подолгу находиться вдали от ее дома; если зайти было нельзя, он просто бродил вокруг. Эта простая семья с ее гостеприимным очагом, где подобно фее юности царила лучистая девичья красота, стала для него тем же, чем полюс является для магнитной стрелки. Мысли и мечты не переставая рисовали его взору ясные карие глаза возлюбленной, ее грациозную походку и все те нежные прелести, неоценимое достоинство которым придает еще и девственность, так что с каждым часом его острое возбуждение возрастало; однако он любил Анну ради себя, но не ради нее и наконец решил, что она должна стать его любовницей. В один прекрасный день ему стало известно, что Херманн завтра собирается с Брафом в Миддельбург, что в трех лье от Домбурга, чтобы там встретиться с господином Верхагеном де Гоэсом и продать ему собранный с маренового поля урожай. Случай выпадал подходящий, Анне предстояло остаться одной на весь день, надо было действовать сейчас или никогда. И вот в пятницу с утра Исаак облачился в самое красивое платье, украсил себя самыми богатыми побрякушками, зашел к Херманну, прошествовал через лавку и, дрожа больше от страха, чем от страсти, открыл дверь в залу, где нашел Анну сидящей у окна и в одиночестве штопающей старую бархатную отцовскую куртку.

## VIII

Увидев вошедшего Исаака, она поднялась:

— Ах! Господин Исаак, вы прекрасны как солнце.

Вильденстеен не отвечал и осматривался вокруг себя.

— Что вы ищете? — спросила его Анна.

— Отчего же, — спросил он наигранным тоном, — не вижу я здесь ни Брафа, ни вашего батюшки?

— Да вы же прекрасно знаете, — ответила она, — что они с утра уехали в Миддельбург.

— Тем лучше, — воскликнул Вильденстеен, — тем лучше, так у нас хотя бы будет возможность поговорить.

— А разве у нас ее не бывает?

Не отвечая, Вильденстеен встал перед Анной и посмотрел на нее с такой настойчивостью, что во взгляде можно было прочесть и вожделение, и неподдельную любовь.

Анна покраснела и потупилась.

— Что же это, — сказала она, — зачем вы так на меня смотрите?

— Как не смотреть на тебя, — вскричал Исаак, — если ты самая прекрасная из всех живущих; ты не знаешь, как безумно люблю я твое чудесное лицо, твои ангельские глазки, твое доброе сердце. Ты не знаешь, как я часами любовался твоим изображением, вы-

гравированным в душе моей. Я представлял себе этот опрятный белый чепчик и золотую прядь, выбившуюся из-под него на твой чистый лоб. Сколько раз я, скромный воздыхатель, созерцал твою красоту издалека, когда ты шла в церковь в очаровательной соломенной шляпке, украсив грудь коралловым ожерельем с широкой золотой застежкой, обутая в маленькие бархатные башмачки с серебряными пряжками, в то время как под тонким корсажем из переливчатого шелка вырисовывались твоя тонкая талия и красивое тело, а широкие складки синей юбки, на которой чередуются матовые и блестящие полосы, не скрывали грациозных и божественных движений твоих бедер.

— А ведь сама-то я не люблю носить такие одежды, Исаак, — сказала Анна.

Исаак не услышал или не понял.

— Ах, — продолжал он, все больше воодушевляясь, — лучше самой королевы, прекраснее, чем невеста красивого павшего ангела! Анна! Будь мы совсем одни, вдали от суеты, вдали от света, мы с тобою изобрели бы счастье заново, если б Господь уже не даровал его всем любящим.

— Замолчите, — сказала Анна.

Исаак бросился на колени.

— О горе, — сказал он с лихорадочным блеском в глазах, — женщины и не подозревают,



как они умеют заставить нас страдать, что им за дело до наших бессонных ночей и дней без отдыха! До того, что мы словно осужденный, сгорающий в серном огне и тянущий длани свои к свежим лугам небесным, которые в мороке обманчивого видения показывают ему палачи; что наши сердца бьются как в лихорадке, а кровь кипит; пусть бы они только почувствовали жар этого пламени, пожирающего нас? Увы! Любовь печальна! Мука нескончаема! Они прекрасны, они смотрятся в зеркало, восхищаются собою сами, и этого им достаточно.

— Вы гадкий, — сказала Анна.

— Гадкий, — повторил он за ней.

— Да, — бросила она. Потом, боясь сказать что-нибудь лишнее, отвернулась от него. На пол упала ее слеза.

— Ты плачешь, — воскликнул он, — вот оно что! — Анна кивнула. — Как, неужели ты вообразила, будто я хочу тебя обмануть? Но ты будешь моей женой, моей подругой, ты станешь счастливее других и, главное, свободнее их; моя жена перед Богом, Анна, ибо вмешательство людей нарушит святость нашей любви.

— Исаак, — сказала девушка, — я тут не все понимаю, но никогда не следует лгать ни Богу, ни мне...

— Ну вот же, — воскликнул он, — ты любишь меня!

Он склонился, чтобы обнять ее, но она оттолкнула его.

— Зачем, — спросила она, — ты вечно приходишь, когда здесь нет моего отца?

— О, зачем я прихожу, — воскликнул он, против ее воли сжимая ее в объятиях, в то время как она упиралась руками ему в грудь, отстраняясь от его поцелуев, — зачем я прихожу? Да потому что не могу иначе, потому что люблю тебя, хочу тебя видеть, потому что ты прекрасна и я не могу без тебя жить, а ты должна полюбить меня...

Вдруг дверь отворилась. Исаак быстро отскочил назад, посмотрел на Анну, как преступник смотрит на судью, и заикаясь пролепетал:

— Ни слова, умоляю, не говори ему ничего.

— Почему же? — наивно спросила Анна.

## IX

И вот опять они здесь, оба, а ведь он так рассчитывал, что не увидит их весь день: один рыщет вокруг него, высоко задрав хвост и оскалив зубы, — ох и устрашающие же у него клыки! В какую часть его тела это чудовище сейчас их вонзит? В руку, в шею, в ляжки? Такое и зубами-то не назовешь — настоящие зубцы, резцы, щипцы. Ах! А как, должно быть, чудесно сейчас на улице, какой чистый воздух, как вольно дышится, не то что в этой зале; Исаак зады-

хается, уже вошел и Херманн, он придерживает полуоткрытую дверь за ручку, и его взгляд так пронзителен в это утро, а из широченных плеч вырастают такие мощные ручки, это те самые, которыми он некогда выкинул в окно несчастного матроса. Интересно, окно тогда было закрыто или открыто? Если закрыто, как и сейчас, значит, бедняга вылетел, пробив его, и упал израненный, весь в крови, прямо на улицу. Исаак похолодел, и тут Херманн открыл рот. Что он сейчас скажет? Ах, дельце выгорело, марена продана, потому что всего-то в двух шагах отсюда, в трактире «Красный лев» у Яна Марануса, он повстречал господина Верхагена де Гоэса, с которым сторговался, и тот приехал в Домбург искупаться. Будто не мог искупаться там у себя! Исаак весь трясется, он побледнел, он не смеет поднять глаза ни на Херманна, с которым боится встретиться взглядом, ни на Брафа, который все кружит возле него и рычит, ни даже на Анну.

Девушка истолковывает его испуг как проявление робости, ей кажется, будто он хочет попросить у отца ее руки и все никак не может решиться начать; она подходит к нему и шепчет на ухо:

— Ничего не бойся, Исаак, ведь мой отец так добр.

Ах! В глубине души Вильденстеен предпочел бы отправиться куда подальше от такого

добряка; но уже слишком поздно, Херманн пристально смотрит на него, потом так же оглядывает дочь и видит, что она дрожит.

— Чего ж такого, — говорит он, — может испугаться господин Вильденстеен и что ему нужно от моей доброты?

— Смелее, Исаак, — подбадривает Анна.

— Отчего это, — спрашивает Херманн, — вы называете господина Вильденстеена просто Исаак?

— Пусть он объяснит вам сам, — отвечает Анна и отходит, потупившись.

Херманн смотрит на Исаака, а тот, дрожа все явственнее, говорит то, чего ему совсем не хочется говорить, то бишь лепечет:

— Да, да, то есть я полагал, я подумал, мадемуазель ваша дочь, я ее люблю и если...

Херманн улыбается.

— Добрый юноша, — произносит он, — да нужны ли такие церемонии, чтобы попросить руки дочери бедняка?

От таких слов Исаак содрогнулся; страх уже заставил его честно взвесить многое, он сказал себе, что в конце концов женитьба не такая уж страшная штука, что Анна хорошая и красивая девушка, что он купит ей великолепные наряды, сможет с гордостью ее всюду показывать и что в конечном счете лучше творить добро, нежели зло, то есть жениться на девушке честнее, нежели просто соблазнить. Эти благие

мысли освежили его дух и укрепили сердце, страх улетел, как орлан, он перестал дрожать и бледнеть и наконец поднял на Херманна прояснившийся взгляд.

Он чистосердечно признался Херманну, что живет в Генте, что у него восемьдесят тысяч флоринов долгу и собственность на острове Вальхерен примерно такой же стоимости; рассказал, что каждый год в июне навещает в свои уголья; всячески расхвалил собственный характер, упомянув о всевозможных своих добродетелях; вспомнил и о приключении на море, благословив его как прекрасный случай, благодаря которому он увидел Анну в первый раз; признался в своей любви к ней и официально попросил ее руки. Херманн дал согласие.

## Х

Прошла пара недель; Херманн и Вильденстеен познакомились гораздо ближе; старик чувствовал себя счастливым, думая о предстоящей свадьбе, и полагал, что теперь может быть уверен в том, что будущее его дочери устроено. Что до Вильденстеена, то он мужественно смирился с необходимостью покончить с холостяцкой жизнью. Впрочем, чем больше он смотрел на Анну, тем больше влюблялся в нее. Не только всю ее фигурку он мог ласкать глазами влюбленного, не находя ни малейшего



изъяна, — но и на ее чистом лице, в ее всегда ясных глазах читалось столько доверчивости, нежности и благородства, что не в его силах было не обожать ее.

С тех пор как Анна уверилась, что вскоре выйдет замуж, ее характер немного изменился. Иногда она плакала, не умея объяснить отчего, и бывала погружена в себя, рассеянна и задумчива. За обедом ей случалось забыть поесть, а за завтраком она могла надкусить одну за другою пять тартинок, да так ни одной и не проглотить. Несколько раз она насыпала сахара в бульон и соли в кофе. Однажды вечером она даже вышла на улицу с лампой в руке и всматривалась в темноту, ища наперсток, который сама же оставила на каком-то столе рядом со своим шитьем. Херманн частенько удивлялся, наблюдая за тем, как она, нарезая хлеб для хлебки Брафу, вдруг застывала на пять минут с ножом в хлебе, словно забыв дорезать ломоть; тогда ее тревожно расширившиеся зрачки, казалось, вопрошали пространство о будущем браке — окажется он счастливым или же несчастным. Часто ее лицо озарялось радостью и сиянием, как у ангела; тогда отец просто любовался ею, не спрашивая, о скольких жгучих ласках и о каком небесном самопожертвовании мечтает эта юная душа, когда думает о возлюбленном, что пришел стать ее супругом.

Во всем доме только Браф ходил хмурый.

## XI

Шесть утра, прохладное время дня, когда солнце, разгоняя последние ночные туманы, ласкает едва пробудившуюся природу еще нежаркими лучами. Херманны ждут Исаака к завтраку, Херманн задумался, сидя у камина; вечная Библия покоится у него на коленях; Анна только что сварила кофе, пропитавшее благоуханием весь дом, и гладит Брафа.

— Отец, — говорит она, — разве уже не пора Исааку прийти?

— Да, — отвечает Херманн.

— Если он еще опоздает, я сниму кофейник с печки, пусть пьет холодным этот дорогой кофе, который он так любит.

Однако она даже и не думает снимать с огня кофейник, а, наоборот, дует на уголь, разжигая печку, потом, машинально продолжая гладить Брафа, потихоньку переносится мыслями в будущее.

— После свадьбы мы переедем в Гент, — говорит она, — не правда ли, отец? Тебе будет так приятно снова увидеть твоих друзей, да ведь и Брафу перемена, наверное, окажется как нельзя кстати. Вот уж сколько времени я не видела, чтобы он улыбался, а ты ведь помнишь, отец, что когда он очень рад, то скалит зубы; что, милый Браф, может быть, хоть сегодня мы дождемся этого от тебя!

Браф скалит зубы, но вовсе не для того, чтобы показать свою радость; он поднимается и рычит; в дом входит Исаак.

Анна нетерпеливо топает ножкой по полу.

— Ну, тут лучше не будет, — говорит она.

— Будет, будет, — отвечает Вильденстеен, — надо только его покормить.

— За стол, дети мои, — объявляет Херманн.

Завтрак близился к концу; говорили о будущем, о счастье, о прекрасном супружестве. Херманн рассказывал о своей жене, которая была моложе его на двадцать лет, когда он женился на ней, и все-таки умерла раньше него.

— Дочь моя, — сказал он, — мне приснилась твоя бедная мать, она принесла свежие цветы вот в эту салатницу, которая стоит на столе; сказывают, что видеть во сне сразу и цветы, и мертвецов — это может принести несчастье, да я-то не верю в такие глупости, добро пожаловать сюда моему дорогому привидению, когда оно того пожелает; оно всегда будет принято с радостью. Дети, я благословляю вас от ее имени.

Исаак и Анна преклонили колени.

— Да наполнит Господь Всемогущий, — продолжал Херманн, — зерном амбары ваши, а хлебом кладовые; пусть вино не иссякнет в вашем погребе, крепость в душах ваших и

любовь в сердцах, и да хранит вас Христос. Аминь.

— Аминь, — повторили Анна и Исаак.

— Теперь, — сказал Херманн, — встаньте, сын мой и дочь моя, и поцелуйте друг друга как жених и невеста.

Впервые Анна коснулась своими чистыми губами губ Исаака, впервые он мог сказать: я прижал ее к груди своей. Окрыленный самым прелестным чувством счастья, он так и стоял, обнимая Анну, когда забытый всеми Браф одним прыжком кинулся от камина прямо на Исаака и придушил бы беднягу, если бы его яростную прыть не пресек Херманн, отбросивший пса ногой с силой, какая была только у него одного.

Исаак и Анна больше не обнимались...

— Если эта собака взбесилась, — в гневе сказал Херманн, — ее нужно убить.

— Нет, он не взбесился, нет, конечно, нет! — вскричала Анна.

Она подошла к Брафу, погладила его по голове, ласково приговаривая:

— Вот видишь, отец, он лижет мне руку, так что, разумеется, он не бешеный, и оставь его в покое.

Стоило только Херманну опустить занесенную руку, как Браф подошел к нему и с виноватой мордой принялся тереться о колени старика.

— Этого мало, — мягко возразил Херманн, — у Исаака, вот у кого надо бы попросить прощения.

Сграбастав пса за шею, он швырнул его к ногам молодого человека; но стоило Брафу только коснуться их, как он уперся лапами и изо всех сил начал пятиться назад.

— Ненавидит он меня не на шутку, — заметил Исаак.

Как тут вспыхнул Херманн!

— Он попросит у вас прощения, — вскричал он, — или я его убью.

Он ударил пса, Браф охнул, но по-прежнему упирался лапами и отворачивался.

— Опасно так его злить, — сказала Анна, — отпустите, отец.

Херманн отпустил Брафа; тот вновь удрученно потрусил к очагу; там он тяжело рухнул на пол, завыл и посмотрел на Херманна с неммым упреком.

## XII

Пусть читатель сообразовалит теперь перенестись в Мелестее, что близ Гента, в большой парк, посреди которого возвышается изящный замок эпохи Возрождения. Хозяин парка и замка зовется Дирк Оттеваар. Этот Дирк — большой оригинал: еще при жизни его батюшки один из его наставников в науках, педант и ли-

цемер, пытавшийся строить из себя нечто вроде домашнего царька, оклеветал одну девицу, к которой Дирк питал мальчишескую любовную страсть; тогда он выставил его за дверь и произнес нижеследующую речь (а девица как раз в это время шла через лужайку возле замка).

— Глянь только, ученый зубрила, — сказал он ему, — глянь только на нее и потом на себя самого; ты глуп, уродлив, нюхаешь табак — и ты имел дерзость явиться сюда и сказать, что действуешь от имени науки, которая, по твоим словам, делает людей лучше, и вот только по той причине, что ухаживания твои, слизняк, так и не оказали никакого воздействия на бедную девочку, ты вздумал насплетничать моему отцу о каких-то постыдных отношениях между нами. Не имея возможности завоевать ее любовь, ты решил похитить у нее честь. Чему же научили тебя твои книги? Гордыне, тщеславию, распутству и наушничеству. Бедная девочка, уж я-то как раз уважаю ее, я, а ты хотел ее замарать! Да посмотри на нее и посмотри на себя; ее тело благоухает здоровьем, как роза, и я ее люблю. Понимаешь ли ты, что такое любовь, грамотей? Это тебе не греческий, понял, ее ты не заплюешь своим ученым комментарием. Ты, стало быть, преподаешь науку клеветы; что ж! — такие уроки мне не нужны, мне нет еще пятнадцати лет, но я выгоняю тебя. Ступай пожалуйся моему отцу, и, если он признает, что

прав ты, ноги моей здесь больше не будет, но прежде чем я покину этот дом, я разорву тебя на тысячу кусков, и поделом тебе, ибо ты опасный глупец, сама злоба, спаренная с латынью. Ты уж давно на меня тоску наводишь тем, что пытаешься научить меня тому, чего сам не сумеешь. Итак, забирай свою табакерку, очки, своего Горация и пошел вон.

Остаться зубрила не посмел.

### ХІІІ

Прошло десять лет; Оттеваар давно забыл подругу своей юности, которая, впрочем, уже четыре года как была замужем; он болтал с одним приятелем на Рыночной площади Гента в базарный день, когда увидел проходящих мимо Исаака с Анной и догоняющего их Херманна, который нес в сетке рыбу. Все трое остановились; и пока Херманн восторженно растолковывал, как необыкновенно вкусно блюдо waterzoou, нечто вроде рыбного рагу с овощами, прошло добрых десять минут.

— Оно, дети мои, — разглагольствовал он, то указывая зонтиком на свою сетку, то отгоняя им же Брафа, который все норовил как следует обнюхать ската, карпа и морских улиток, — сколь простецким ни казалось бы вам на первый взгляд, на деле — угощение королевское, блюдо княжеское, и вскоре благодаря острым

овощам и пахучим пряностям его аромат почувствует вся набережная Сен-Мишель. У всех перевозчиков, что сидят в лодках, от аппетитного запаха так защекочет в ноздрях, что носы у них вырастут прямо до окон моей кухни, но — шалишь, это только для своих. Что ж, дети мои, устроим себе праздник? Исаак, сынок мой, да у тебя уже слюнки текут. — Херманн нетерпеливо дернулся. — Браф, — продолжал он, — если вы так и будете стараться съесть мой обед прежде меня самого, я об вашу задницу зонт разобью.

— Вы так не сделаете, отец, — сказала Анна.

— Не сделаю, нет, — отвечал Херманн, глядя Брафа, — но вынужден прибавить, — эти слова он обратил уже к собаке, — что ты этого вполне заслуживаешь, ибо надо совсем не иметь ни вкуса, ни нюха, то есть быть вроде тебя, чтобы не понимать, как отвратительно есть рыбу сырой...

Браф с явным удовлетворением завил хвостом, что говорило о его полном пренебрежении к обидному смыслу слов, произнесенных Херманном.

Стоял холодный ноябрь, было очень зябко; почти начинался уже снегопад; Анна была одета в шелка и черный бархат, на ней была английская юбочка в широкую красную полоску: Дирк не мог глаз от нее отвести.



— Эта юбочка, — произнес он вдруг, — сверкает словно цветок в грязи, она — дьявольский соблазн; красное и черное — цвета любви, огня и печали. Как мягко она обволакивает бедра, как выгодно подчеркивает ножки феи, которые я буду целовать в мечтах моих. Эта женщина необыкновенная красавица! Взгляни сам, как прямо и гордо она ступает, тут сразу видна молодая кровь, чувствительные нервы, крепкие мышцы. Темные волосы отливают то рыжиной, а то позолотой; на лице румянец, лоб открыт, глаза большие. Станный взгляд у нее, невинный, любопытный, ищущий; взгляд ребенка, ставшего женщиной слишком рано. Чего ей недостает? Разумеется, счастья. Какая необычная улыбка: как старательно она изображает оживление, честная женщина, улыбающаяся для того, чтобы не заплакать; ага! вот она удаляется об руку с мужем, а мое дело теперь последовать за нею; друг мой, появление этой красной юбочки предвещает перемены в моей жизни!

Дирк проследил за Анной до самой дороги Сент-Аман, где она жила. В известных обстоятельствах все вокруг покровительствует и влюбленным, как и вора́м: Дирк приметил, что сад при доме Анны выходил прямо на открытые луга и что ему легко было бы проникнуть туда.

Потом, чувствуя себя совсем по-новому, он вернулся в Гент; глубоко задумавшись, он ходил точно во сне.

#### XIV

Часов в пять, когда уже совсем стемнело, он проходил по Кетельбрюгу, одному из множества гентских мостов. При свете уличного фонаря он увидел простолоудина, который, опираясь на перила, мрачно смотрел вниз, на текущие черные воды Эско\*.

Дирк узнал маляра по имени Пьер, который в прошлом году работал у него в Мелестее.

— Добрый вечер, Пьер, — сказал он, хлопнув его по плечу.

Тот вздрогнул, точно его разбудили.

— Господин. Дирк! — воскликнул он. Оттеваар заметил, что глаза у него покрасневшие, и спросил, что он тут делает.

Показав на воды реки, Пьер ответил:

— Вот кому сейчас хорошо — тому, кто спит там, на дне; уж ему-то будет где укрыться от снега, что выпадет ночью.

---

\* Эско — французское название Шельды, крупнейшей реки Бельгии; именно такое французское название всегда употребляет де Костер, в том числе и в «Уленшпигеле».

— Куда лучше была бы пара шерстяных одеял, — ответил Оттеваар.

— Куда лучше, да они давно проданы.

— Неужто ты и вправду так бедствуешь, Пьер?

— Не по своей вине, у меня ведь дочка, так один богатый купец захотел, чтоб она стала его полюбовницей; красива она, Каттау моя. Послушался я его советов и сломя голову впрягся в глупое дело; сделался продавцом красок на улице Полей, как раз возле лавки Ван Имсхоота, который торгует тем же товаром, только оптом. Не сообразил я, что полное это безумие — вздумать потягаться со старинным магазином, в котором торговля всегда бойкая. Ума не приложу, как назвать все это, судьбой-злодейкой или горем-злосчастьем, да только никогда еще меня так не скрючивало, впору пойти и удавиться. Выручки не хватало не то что за жильё заплатить, а даже чтоб каждый день хлеб в доме был. Прошло пять месяцев, все дело и обрушилось, тут явился ко мне этот купец и потребовал, чтоб я уплатил ему целых четырехста франков, на которые я подписал договор, а потом добавил, что если бы я прислал к нему нынче же вечером свою дочь, то он будет дома один, примет ее как подобает, возвратит ей все векселя и ни гроша с нее за это не возьмет. Каттау таким недостойным

предложением была возмущена даже больше, чем я; мы его вышвырнули за дверь. На следующий день явились судебные приставы, Каттау сбежала к старой тетке, там у нее, правда, каждый день пирожков откушивать не получится, но хоть уверена будет, что кусок хлеба для нее всегда найдется; ну, а меня приказано арестовать, и я не знаю, где спрятаться; предайся я в руки правосудия, меня тут же упекут в тюрьму, и прощай надежда оттуда когда-нибудь выбраться; дочка за мои долги не ответчица, она молода, проживет и без меня, и вот...

— И вот, — прервал Оттеваар, — ты глядишь на реку так, словно она хоть раз заплатила чьи-нибудь долги. На-ка вот, возьми мой бумажник, если не ошибаюсь, в нем тысяча франков; бери на здоровье. Уплати все, что должен, сохрани остаток и, если ты имеешь обыкновение молиться, помолись за красную юбочку, которой ты обязан тем, что встретил меня сегодня в таком добром расположении духа.

— Красная юбочка, — сказал тот.

— Ну да, ну да, красная юбочка, которая живет в доме на дороге Сент-Аман и, сдается мне, не счастливее тебя самого.

— Да ведь, господин, — возразил Пьер, — про меня подумают, будто я бургомистра уколошил...

— Пусть их думают, Пьер, пусть думают...

— Но, господин Оттеваар, — не мог успокоиться Пьер, — ведь получается, что вы сами себя выпотрошили как цыпленка...

— Ты прав, — отвечал Оттеваар, — одолжи мне сто су, я тебе кружку uitzet\* поставлю.

— Нет уж, — отозвался Пьер, — теперь я угощаю. — Потом, обратив к водам Эско жест, полный презрения, добавил: — Не будет тебе ночных купаний!

Через три дня красивая молодая девица по имени Каттау пришла к Анне и так приглянулась ей, что стала ее горничной.

## XV

Сказав, что Анна несчастлива, Оттеваар попал в точку: со дня свадьбы прошло уже два года, целых два года — а это даже больше, чем нужно для такого мужчины, как Исаак, чтобы устать от любви, пусть даже любви ангела, и подумать об измене. Нижеследующая сцена точно явит перед читателем обычный характер их отношений. В этот вечер они оба были в гостинной, обставленной тусклой палисандровой мебелью, в которой Анна просиживала целыми днями; Исаак развалился на канапе,

---

\* Популярный сорт фламандского пива; существует с 1730 года по сей день.

на американский манер задрал ноги кверху, и покуривал сигару.

Сидя за низеньким столиком, на котором стояла лампа, Анна все вертела и вертела в руках маленький ключик.

— Почему же, — спрашивала она, — почему я должна отдать тебе этот ключ? Разве я заслужила, чтобы со мной вовсе не считались, разве я дала повод подозревать меня хоть в малейшей неверности или израсходовала на свои нужды хоть полгроша?

— Нет, — отвечал Исаак, — нет, и тем не менее...

— Исаак, открой мне мотив, причину этого; ты прекрасно знаешь, что этот ключ не только от кассы, он еще и от твоего доверия и нашего счастья.

— Не о том речь, — нетерпеливо ответил Исаак, — мне вскоре понадобится много денег, и я хочу избавить тебя от скучной необходимости то и дело отпирать и запирать этот сейф, вот и вся простая и истинная причина, и меньше всего тут дело в том, что ты теряешь мое доверие, а я покушаюсь на наше счастье.

Анна покачала головой.

— Для чего, — спросила она, — тебе так часто будут нужны деньги?

— Поговаривают о какой-то войне, акции всех займов переживут сокрушительное паде-

ние, и это подходящий случай все скупить, чтобы потом вновь продать.

— Я ничего не понимаю в твоей манере объяснять; выдадут ли тебе торговый документ о вложенных тобою деньгах?

— Да.

— И ты покажешь мне этот документ?

— Зачем? Я оставлю его у моего банкира в Брюсселе.

— Он даст тебе расписку?

— Это не обязательно.

— Тебе, наверное, придется часто ездить в Брюссель?

— Да, но я не премину всегда возвращаться, каждый вечер.

— Много у тебя там под ключом?

— Ровно столько, сколько мне хотелось бы иметь.

— А мне — сохранить; хочешь — испытаем судьбу, потянем жребий?

— Как ты можешь всерьез говорить такие вещи?

Анна пристально взглянула на мужа, тот опустил глаза.

— Итак, вот наше будущее, — сказала она, — мы сейчас испытаем его; вот, я в накладе; возьми ключ, Исаак, но скажи только: ты один собираешься владеть этими акциями?

— Один! Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего.

## XVI

*Господину Исааку  
де Вильденстеену*

Сударь,

Священная необходимость следить за соблюдением нравственных законов, соединяющая взаимными узами нас, людей цивилизованных, обязывает каждого из этих членов сообщать другому об опасности, в которой тот, быть может, находится. И вот, сударь, поскольку супружество есть одна из основ, на коих зиждется общество, я считаю себя обязанным, хоть сам и холостяк, донести вам об угрозе покушения на нерушимую святость этих уз. Вчера в кабачке, который его завсегда и предпочитают называть кафе и куда я захоживаю, уж простите великодушно, что говорю о себе самом, просто скоротать вечерок после моих трудоемких научных штудий, я услышал беседу двух молодых людей, которую затрудняюсь оценить с точки зрения грамматики, так как используемые выражения показались мне немного романтическими.

Я сознаю, какая опасность может угрожать мне, если когда-нибудь тот, о ком я считаю необходимым дать вам знать, узнает мое имя и место проживания. Поэтому умолчу и о том, и о другом; однако ж не подумайте, буд-



то я опасаюсь мести со стороны безнравственности; ибо, как говорит Гораций:

Justum ac tenacem propositi virum,  
Impavidum ferient ruinae\*

Я из тех, кого ничто не может заставить побледнеть, хотя, впрочем, цвет моего лица — тема не из приятных, и даже самым жестоким палочным ударам не лишит меня чувства собственного достоинства.

Итак, сударь, во вчерашней беседе речь шла о госпоже вашей супруге, которую я всячески чту и уважаю, не имея чести быть знакомым лично. Молодой человек, о котором я вам и толкую, с большим жаром расхваливал ее красоту и красную юбочку, а в конце концов сказал так: я напишу ей, я должен непременно написать ей. Желая это предупредить, сударь,

---

\* «Кто прав и твердо к цели идет, того <...> Чуждого страху, сразят обломки». Цитата из «Од» Горация, III, 3, дана здесь в переводе Н. Гинцбурга. Из пышной и пафосной поэтической речи Горация, говорящего, что уверенного в своей правоте человека не остановят ни гнев толпы, ни окрик тирана, ни даже Юпитер-Громовержец, ученый педант у де Костера выхватывает две строчки — первую и восьмую, пропуская все остальное; от этого и образуется комический эффект такого цитирования.

и притом незамедлительно, я той же ночью отнес это письмо на почту.

Засим остаюсь с множественным и глубочайшим уважением вашим преданным и смиренным слугой.

*Незнакомый друг.*

P. S. Долг повелевает мне сообщить вам его имя на тот случай, если он из осторожности не подпишет своего письма: его зовут Оттеваар, он человек дурной репутации и живет в замке неподалеку от Мелестее.

## XVII

*Госпоже де Вильденстеев*

Сударыня,

Однажды я увидел вас и не смог не написать вам. Быть может, настанет время, когда вы позволите мне заговорить с вами. Прежде всего, я хочу рассказать вам о себе таком, каков я есть.

Природа для меня — религия, солнце — друг, жизнь — долг. Господь, перед которым я преклоняюсь, нисколько его не боясь, есть загадочная механика того театра марионеток, который еще называют универсумом. Когда марионетка больше не годится для службы, он ломает ее и ставит другую на ее место. Люди так жалки в этом просторном мире, это, вероятно, потому,

что скитаются по нему подобно хищникам в пустыне, и истребляют друг друга в пустых спорах из-за мелких должностей, обрывка орденской ленты, тощего клочка земли. Тщеславие, жажда успеха, гордыня — вот преследующие их грустные химеры, в то время как для меня истина сокрыта в трех словах: справедливость, доброта, любовь. Сударыня, я люблю вас. До сегодняшнего дня счастье всегда было моим другом, я богат, молод и крепок. Быть может, завтра я начну сокрушаться и жалеть, что мне вообще довелось увидеть вас. Но мне нравится страдать ради вас, потому что вы несчастливы. С этой минуты я всегда ваш, я рядом с вами каждый ваш шаг и пребываю в ожидании, ибо мне обыкновенно достаточно лишь пожелать чего-нибудь, и оно становится моим.

*Оттеваар*

Каттау внесла оба письма одновременно, вручив мужу донос, а жене — то, о чем этот донос был написан.

Исаак читал медленнее, чем Анна; как раз когда он собирался спросить ее, что она там читает, она протянула ему письмо со словами:

— Прочтите сами это странное послание, Исаак.

Исаак прочел.

— Странно, — сказал он, — странно и, по моему, еще и смешно, дерзко и глупо. Немедля

в огонь их, излияния этого бахвала и вертопраха.

— А я вовсе так не думаю, — возразила Анна.

— Да вы уж ненароком не влюбились ли в него.

— Вам известно, что я даже не знакома с ним.

— Известно, известно... что кому известно, когда речь идет о женщинах?

— Это незаслуженное оскорбление, — возразила Анна.

Исаак вышел: как бы там ни было, сказал он себе, а взгляну-ка я на рожу этого фанфарона, и если что...

Исаак взял толстую палку, сел в дрожки и вышел из них в десяти минутах ходьбы от Мелестее.

Перед ним возвышался изящный замок, и он поинтересовался у прохожего крестьянина, не это ли имение господина Оттеваара. Точно так, отвечал крестьянин, а вот и господин собственной персоной, прибавил он, приветственно махая рукой вывернувшему прямо навстречу им с незаметной тропинки и пронесшемуся мимо всаднику, за которым неслись две превосходные шотландские борзые.

Исаак увидел полного энергии молодого человека, коренастого и крепкого, настоящее воплощение жизненной силы. Орлиный нос,

с немного широковатыми ноздрями, серо-голубые глаза, запавшие под густыми бровями, образующими прекрасную горизонтальную линию, открытый высокий лоб, бычья шея, смуглый цвет лица, на котором застыло странное выражение, вполне способное принадлежать как мечтателю, так и дикарю, короткие ноги и маленькие мускулистые запястья, напоминавшие орлиные когти, — такими были характерные черты этого красивого фламандца, наверняка зачатого матерью после того, как она долго рассматривала какое-нибудь из славнейших полотен жизнелюбивого и чувственного Рубенса.

Увидев решительный вид Оттеваара, Исаак поспешно спрятал за спину толстую палку. Оттеваар приказал отпереть решетчатые ворота и вошел в парк, казалось даже его не заметив. Правда, проходя, он чуть улыбнулся, что повергло Исаака в ярость, но разъяренный муж удалился, тщательно скрывая свой гнев. Едва он успел уйти так далеко, что его не могли видеть из замка, как угрожающе затряс палкой, принялся стегать ею изгородь и измочалил в мелкую крошку многочисленные кусты репейника, которые не могли ему ничего возразить.

Снова вскочив в экипаж, он выбралил своего лакея и несколько раз назвал его недоумком. За обедом он закатил Анне постыдную

сцену, однако не решился рассказать ей о полученном доносе и не признался в трусости, которую проявил в именин Оттеваара.

## XVIII

*Оттеваар — Анне  
Декабрь 1859*

Сударыня,

женщина идет по проторенному пути, подобно тому как летит ласточка; ночь темна и, едва опустившись, обещает быть долгой. Рядом с женщиной идет мужчина, она совсем не знает его, она еще не взглянула ему в лицо, но слышала его тяжелую поступь и смогла представить его себе по голосу. Она опасается, что у этого мужчины совсем нет души и что его плоть слаба. И все-таки он станет ее спутником на этом пути на всю ночь.

Женщина уже прошла определенное расстояние; и тут лицо мужчины озаряет внезапная молния; тогда она видит то, о чем прежде могла только догадываться, его некрасивость, его малодушие, его болезненность. Она молода, здорова, у нее есть душа; и вот ей, скорее всего, предстоит всю дорогу тащить на себе своего хилого спутника, безропотно снося его дурной характер, его жалобы, его гневливость. И она полна решимости сносить все это.

Анна — вот этот идущий, Вильденстеен —  
спутник, темная ночь — ваша неопытность; а  
молнией, с вашего позволения, буду я,  
*Оттеваар*

Анна сожгла письмо, не показав его мужу.

## XIX

*Оттеваар — Анне*  
*Декабрь 1859*

Садовый вьюнок, едва пробившийся из-под земли, — это хрупкий и щедушный росток. Чтобы помочь ему прижиться, вы привязываете его к колышку, и делать это надо с осторожностью. Гелиотропы, розы и жасмин, виноградники скудные и те, что изобилуют спелыми гроздьями, герани и настурции сплетаются друг с другом в вашем саду, беспечно тянутся к солнцу, совсем позабыв о вьюнке. Да ведь и вы тоже вовсе не вспоминаете о малыше, пока вдруг однажды, в ту пору, когда листья краснеют, когда гелиотропы еще повернуты к солнцу своими бледными венчиками, вы не увидите, как по всему саду расцвели чашечки; они повсюду — среди роз, виноградников, жимолости; и рядом, видите, то растение, которое их породило, — тысячей усиков обвивают они одна другую, сжимают в объятиях, теснят друг дру-

га. Это маленький вьюнок, он вырос и стал большим. Такова и любовь, когда она начинается — это всего лишь мелочь, а кончаясь, все собою заполняет: две недели минуло, как я увидел вас в первый раз, и вот уже в моих мыслях нет места ни для чего, кроме вас.

Анна сожгла и это письмо и ничего не сказала мужу. Она стала задумчивой и реже выходила из дому.

## XX

В начале января Исаак отправился в Брюссель; Херманн приехал навестить дочь. Когда отец и дочь вдоволь наприветствовались, Анна пригостила рядом с ним, позвонила и приказала Каттау принести завтрак. Каттау поставила прибор, и Херманн, делая вид, что ест и пьет, присматривался к дочери; Анна старалась вести себя как подобает, но была рассеянна и обмакнула в кофе кусок мяса. Херманн, улыбаясь, взял ее за руку.

— Что с тобой? — сказал он. — Подними-ка голову, чтобы я мог заглянуть тебе в глаза; они покраснели, значит, ты плакала; иди сядь ко мне на колени и расскажи о себе.

Анна так и сделала.

— Дитя мое, — продолжал Херманн, — друзья часто спрашивают у меня: что там с твоей



дочерью? Отчего она такая бледная? Мне приходится отвечать, что я ничего об этом не знаю и ты никогда не жалуешься. Твой муж докучает тебе или, быть может, ты захворала?

Анна прижалась к Херманну.

— Захворала ли, — отвечала она, — про то я не знаю; бывают минуты, когда мне больно; осматривать меня приходил доктор; он советовал мне веселиться, избегать волнений; подумай он до конца собственный рецепт, так с удовольствием прописал бы мне быть счастливой.

— Бедная нежная малышка, вот ты опять смеешься.

— Бедный встревоженный батюшка мой, а с чего бы мне не смеяться? Исаак меня очень любит, сейчас он вдали от меня, у него есть и друзья, и... он путешествует и имеет право на это. Я не стала его от этого любить меньше. Он все еще не понимает меня, но это со временем придет. Тогда глаза его раскроются широко-широко, он поймет, сколь ничтожны те развлечения, ради которых он оставляет дом... и тогда позволит мне исцелить его сердце, раненное другими... не качай головой, отец, сам увидишь. Когда я жду, то часто испытываю такую грусть и тогда доверчиво поднимаю глаза к небу: Господь улыбается мне, и я часами пребываю в безмятежном покое. Нет, я не несчастлива. Каждое биение моего

сердца говорит мне: ты права во всем. Я дышу свободно, полной грудью; словно мне принадлежит вся земля и все небо. Ты сам знаешь, отец, — тут голос Анны дрогнул, — можно быть изнеженной баловницей, промотать десять состояний, увести мужей у десяти жен, испытывать свое неотразимое очарование на всех окружающих, — но в такой душе никогда не живет та неколебимая сила, что умеет двадцать лет ждать своего часа и не ослабнет в ожидании.

— И долго ли продлится эта попытка?

— Покуда этого хочет Господь, — ответила Анна.

## XXI

*Оттеваар — Анне  
Февраль 1860*

Быстро отцветают розы, быстро промчится пора юности, и веселого смеха. Жизнь и без того так печальна, зачем же Анна еще добавляет в нее черных красок? Довольно с нее жертвовать собою, довольно ее слез, довольно отдавать свое сердце мужу, который ее обманывает; пора подумать и о самой себе.

Она не одна на свете, есть мужчина, который ее любит, он здесь, он готов для нее на все и всегда будет ждать ее.

## XXII

*Оттеваар — Анне  
Февраль 1860*

Только что мимо меня прошла, взявшись за руки, пара влюбленных; они шептали друг другу те самые слова непостижимые, о любовь божественная! И я был счастлив вместе с ними, но сам я страдал.

Где же оно, где то создание, каким я был еще так недавно, создание, довольствовавшееся самыми обычными и простыми радостями нашего мира, где тот, кому хватало для счастья веселых друзей, быстрых скакунов и шумных театров? Тогда душа моя если и воспаряла, то разве что в подогретые сферы привычной борьбы за существование или на холодные вершины искусства. Ничто не в силах было растопить жировую прослойку, окружавшую мои мысли и чувства, я без раздражения блуждал среди злобы, низостей и пошлости. Я заключал с эгоизмом сделку и суетности говорил: «Ну и пусть». Я покорился судьбе: о покорность! Из покорности судьбе вырастает старческая тоска.

Потом пришли беспричинная грусть, подавленные рыдания, вспышки ярости без причины, вдруг пробудившееся желание счастья. Несчастен тот, кто одинок. И вот я, беспокойный, искал смутный идеал, так ни разу и не

явившийся мне, потом вернулась апатия, я работал, мыслил, приходил на помощь тем, кто нуждался в ней, боролся за высший идеал, но ничто не могло даровать мне удовлетворения — ни уважение людей, ни благодарность тех, кто обрел счастье благодаря мне, ибо мне по-прежнему не хватало одного; чего же? — ее; вас!

Я искал и не находил вас, ибо ни та мещанка, ни эта герцогиня — были не вы; и вдруг в одно прекрасное утро я бродил по городу и позабыл обо всем, обо всем на свете: я увидел вас, и я вас полюбил.

Тогда дух мой внезапно проснулся. Наконец я жил по-настоящему: я думал о Боге, о душе, о всех возвышенных предметах, о жертвенности и героизме... Потом я возжаждал вас.

*Оттеваар*

Нет, тысячу раз нет, сказала Анна, бросая письмо в огонь. Потом она раскрыла Библию, почитала священную книгу и расплакалась.

### XXIII

В первый день мая Анну разбудил на рассвете низкий голос, который пел у нее под окном lied — фламандскую песню наступающей весны:

Сладок милой ранний сон,  
Ах, как я в нее влюблен.

Под окном твоим брожу,  
Майский клен здесь посажу.

Взволнованная, заинтересованная, очарованная, Анна тихонько запела ответный куплет:

Не сажай ты майский клен,  
Тут чужая сторона,  
Ах, напрасно ты влюблен,  
Не открою я окна.

Голос зазвучал опять:

Где ж его мне посадить?  
Я хочу тебя любить...  
На погосте пусть растет,  
Листья опадут — умрет...  
Тут ему в могилу лечь,  
На могиле розам цвести,  
Споют розам соловьи  
Песни сладкие свои,  
Хватит песен милых сих  
Нам с тобою на двоих.

Эта песня мая — lied — напомнила Анне о детстве; с самого первого дня замужества она не испытывала такого свежего порыва чувственности. Вскочив, она, полунагая, отдернула занавеску и посмотрела, кто же это поет. С востока из-под серых, набухших снегом облаков пробивалась хмурая и печальная зимняя заря. Она впервые

увидела мужчину, написавшего ей такие пылкие признания в любви, и, взглянув на него, закрыла руками лицо. Оттеваар продолжал петь:

Не гони любовь ты прочь —  
Темной, стылой будет ночь.  
Не гони, а встречай —  
Или стылым будет май!  
Завоюю я любовь  
Женщины прелестной,  
И твою взволную кровь  
Как молнией небесной.

Анна снова тихонько пропела ответ:

Не сажай ты майский клен,  
Тут чужая сторона.  
Ах, напрасно ты влюблен,  
Не открою я окна.

Будто услышав ее, Оттеваар продолжал:

Прогнала любовь ты прочь, —  
Темной, стылой будет ночь.  
Плачешь ты, горюю я, —  
Но опять взойдет заря,  
Будем вместе, ты и я,  
Слушать песни соловья.

Потом он повернулся, Анна отворила окно и увидела, что он уходит.

— Исаак, — сказала она, — зачем ты вечно оставляешь меня одну?

Вдруг она услышала шаги и, отпрянув назад, быстро присела, чтобы ее не увидели, и тут с порывом морозного ветра в спальню ворвался аромат цветов. Она услышала стук лопаты по мостовой, а потом шелест листвы. И вот те же шаги, уже знакомые ей, быстро удалились; Анна приподнялась и увидела посаженный на мощеной дороге росток майского дерева, покрытого самыми изысканными цветами; но хрупкий стебелек, вкопанный неглубоко, не в силах был сопротивляться усиливавшемуся утреннему ветру, он рухнул, а вместе с ним рассыпались и наложенные сверху необыкновенные букеты.

— Как жалко, — сказала Анна.

Потом, овладев собой, — «Цветы, — произнесла она, — что за дело мне до этих цветов?»

Снова легла в постель, — «Прости меня, Господь мой, — сказала, — на минутку я преступила закон».

Два часа спустя, уже встав и осмотрев дом хозяйским глазом, она опять увидела эти цветы, они расцветали в вазах, стаканах и даже в супницах. Они цвели повсюду, от чердака до кухни.

Вошла Каттау.

— Как сюда попали эти цветы? — спросила Анна.

— Госпожа, — отвечала Каттау с самым невинным видом, на какой только была спо-

собна, — этим утром они были разбросаны по всей улице, и я подумала, что если соберу их и украсу ими дом в честь первого майского дня, то это доставит вам удовольствие, но стоит вам лишь приказать, и я тотчас выкину их в навозную кучу.

— Нет, нет, — порывисто возразила Анна; Каттау улыбнулась.

## XXIV

*Господину Исааку  
де Вильденстеену*

Ученый Фома из Клаппорибуса\* изрек на блистательной латыни, коей владел в совершенстве и кою вы хотя и, полагаю, понять могли бы и

---

\* Слово образовано соединением корней двух французских глаголов: *clapper* — прищелкивать языком (например, пробуя вино) и *clapoter* — попусту болтать — с латинским окончанием и может быть переведено примерно как «Ученый Фома из местечка Причмокиватели-Пустобрехусы». Нередкий у де Костера прием, восходящий к веселым латинским штудиям средневековых университетских школяров, в данном случае позволяет автору ввести на полях основного сюжета персонаж, по-видимому, фольклорный или изобретенный им самим под видом фольклорного: во всяком случае, этот ученый Фома так же пародийно упоминается еще и в новелле «Братство Толстой Морды» в сборнике «Фламандские легенды».



сами, я тем не менее усердно для вас переведу, итак, сей глубочайший дока по части слабостей человеческих глаголет, что если женщине пропета серенада — честь ее уже добыча ада.

Сударь, я далек от непочтительного намерения подвергать сомнению добродетель вашей почтенной супруги, однако должен вас предупредить о сплетнях ваших соседей и о насмешках над вами, которые слышал я самолично и которые заранее украшают рогами ваш лоб. Могу сообщить вам и место, где это было, «Испанская корона», тот славный кабачок, куда я иногда заглядываю пропустить стаканчик черносмородиновой наливки, чтобы взбодрить желудок, который расстраивается от моих ученых штудий.

Сударь, вчера, первого мая, когда вы были в отъезде, тот самый человек, называть коего по имени теперь уж нет никакой нужды, вольнодумец, пользующийся дурной славой из-за своего поведения, приходил под окна вашей почтенной супруги, чтобы ей спеть. Та же сперва отодвинула занавески, а после, когда соблазнитель уже удалился, несомненно, захотела взглянуть на его лицо, потому что отворила окно и осмотрела улицу. Было видно, что ночного чепца она не носит, а надевает только сеточку для волос, о которых мне сказали, что они у нее очень пышные. После всего этого явились рабочие, которым заплатил известный вам человек, и посадили перед вашим домом компрометирующее

майское дерево. Тут госпожа скрылась. Когда рабочие ушли, она выглянула снова и рассмотрела дерево, которое было увешано цветами и вскоре упало; мадемуазель Каттау, без сомнения состоящая в сговоре с тем, кто посадил сие дерево, вышла из вашего дома и собрала цветы в букеты. Я ничуть не сомневаюсь, что как раз сейчас ими пропах весь ваш дом.

Благоволите, сударь, принять уверения в моей безграничной преданности и глубочайшем уважении к вам.

Ваш друг, вынужденный настаивать на своем инкогнито.

*И. З.*

— Черт побери! — пробормотал Исаак, прочитав письмо. — Надо проверить, очень может быть, очень похоже на правду...

Он был наверху и только что закончил прихорашиваться; Анна уже спустилась в гостиную, и Исаак вприпрыжку сбежал по лестнице с письмом в руке.

Тут появилась Каттау.

— Что такое, что случилось, что это вы так бегаєте, сударь? — спросила она.

— Правда ли, — осведомился он, ухватив ее за ухо, — что утром ты подобрала эти цветы на улице и что твоей хозяйке спели серенаду?

— Да, сударь, это все так и было, но скажите, что в этом дурного; госпожа ведь не может

никому запрещать петь ей серенады. А насчет того, что я собрала цветы, так это я подумала, что лучше уж пусть будут тут, чем валяются на мостовой. Вы рассердились и хотите сейчас устроить сцену госпоже, которая и так уже опечалена хуже некуда. — Тут Каттау заговорила громко: — Но предупреждаю вас, если вы это сделаете, уж я расскажу ей, зачем вы каждые два дня ездите в Брюссель.

— Тише, — шикнул Исаак, — тише...

— Послушайте меня, — снова начала Каттау, — оставьте в покое вашу несчастную жену, если уж не любите ее больше, так хоть не мучайте. Она невинна, а могу вас уверить, что такого уже давно нельзя было бы сказать об очень многих женщинах, будь они на ее месте.

— А вот поглядим, — сказал Исаак, — пойду-ка я поцелую ее.

— Прекрасная мысль, — отозвалась Каттау, — вот небось хозяйка-то будет рада-раदेशенька подобрать крошки с чужого застолья.

## XXV

*Оттеваар — Анне*

Сударыня, мне снился сон. Вокруг шумел карнавал, а я входил в большую спальню. На постели лежала женщина. Это были вы. Ваше тело было укрыто одеялом, я видел только

прекрасное лицо. Ваша рука свесилась с кровати. Я хотел укутать вас; мне казалось, что вам холодно; я взял вас за руку, она была словно налита свинцом; я дотронулся до вашего лица, оно было будто ледяное; тело неподвижно как труп. «Умерла от печали», — сказал рядом со мной чей-то голос. Я стал на колени и молился, сжимая вашу руку в своих. Вдруг увидел я, что вы приподнялись; рукой, которую я держал, вы привлекли меня к себе. Я чувствовал, что умираю и подобно вам становлюсь безжизнен и холоден; и тут постель, стены — все исчезло, и мы рухнули вниз. Под ногами у нас, вокруг, над головою — повсюду была пропасть. Окружавший нас свет был светом нездешнего мира; сияние исходило из серых светящихся облаков, сквозь которые мы все еще пролетали, не сознавая, как оказались в этом вихре: головокружительного падения. Я покрывал вас поцелуями, ибо любил вас и мертвую и готов был следовать за вами в царство смерти. Мы ничего не сказали друг другу; в словах не было нужды, нас обоих пронзила одна мысль: мы в бесконечности. Мы продолжали падать, одна туманность сменялась другою, пропасть следовала за пропастью; мне чудилось, что ни я, ни вы не сотканы больше из плоти; я не чувствовал вашего тела, и в том поцелуе, который соединил нас, мы слились друг с другом, как нежный ветер сливается с горячим, как благоухание ладана сливается с ароматом

цветка. Наконец мы опустились на берега моря теней, чьи воды серы и зловещи. Насмешливые души проходили мимо, говоря: вот они, вот те, что любят друг друга любовью прелюбодеев. Я отделился от вас, чтобы покарать их; вы громко вскрикнули, и я проснулся.

Простите меня за это письмо; я схожу с ума от любви к вам, но и вы полюбите меня, говорю вам без обиняков. Сердце ваше разыгрывает грустную комедию; зачем вам хранить молчание? Мне известно, что вы тускнеете и плачете каждую ночь.

Анна торопливо позвонила; вошла Каттау.

Анна показала ей письмо, которое держала в руке:

— Знакома вам эта подпись? — спросила она.

Да, госпожа, — густо покраснев, ответила горничная.

— По крайней мере, вы не лжете.

— В нашей семье не учили лгать.

— Можете вы мне ответить, — заговорила Анна, — давала ли я вам когда-нибудь право говорить с вашим знакомым о моей бледности и о моих слезах?

Каттау порывисто сжала руки Анны.

— Нет, госпожа, — сказала она, — никто не давал мне такого права, но я люблю вас, я ваша служанка, я считаю долгом своим позаботиться

о вашем счастье. Ах! Вы не станете сердиться, когда узнаете, в чем дело. Тот, кто написал вам это письмо, спас моего отца, когда тот готов был броситься в Эско. Он отдал ему весь свой кошелек; мы были разорены, а он помог нам поправить дела. Он спас моего отца от могилы, а меня — от той распутной грязи, в какую обыкновенно падают молодые девицы, если, на их беду, у них свежее личико. — И Каттау пересказала ей сцену на мосту. — Когда отец вернулся, — продолжала она, — и рассказал мне об этой красной юбочке, которая, по словам господина Оттеваара, еще несчастнее меня и живет на дороге Сент-Аман, я сходила поболтать с соседями. Уж чего только я от них не наслушалась обо всем и вот пришла к вам; поймите же, я хочу заплатить долг признательности, и поскольку мы благодарны ему, то я хотела отблагодарить вас; потому что он вас любит. Госпожа, я не имею права говорить о том, как плохо с вами обходится муж, но, если бы вы согласились вместо него выйти замуж за того, кого все крестьяне Мелестее зовут братом бедняков, вы стали бы счастливейшей из женщин.

Да, признаюсь честно, — я бываю у него, рассказываю о вас, просто говорю о том, что сама вижу, — что вы страдаете, и, когда мы с ним, госпожа, вот так весь вечерок и проговорим о вас, мне уже кажется, ему суждено принести вам счастье, несмотря ни на что.

— Обнимите меня, Каттау, — сказала Анна, — а письмо спрячьте в свой ларчик.

Но, тут же спохватившись, Анна забрала или, точнее, выхватила письмо из рук горничной, порвала его на мелкие клочки, открыла окно и выбросила их на улицу. Дул сильный ветер: в то же мгновение вихрем их унесло на недостижимую высоту, там они затрепетали у самого солнца как стая бабочек и принялись падать вниз, пока не скрылись за крышами домов.

Анна, сиявшая от сознания исполненного долга и опечаленная тем, что поборола страсть, следила за ними взглядом.

— Пусть так же, — произнесла она, — улетят и все мои грешные мысли!

— Бедная госпожа, — отвечала Каттау, — да вы святая!

— Надо поступать как должно, так ведь? — возразила Анна.

## XXVI

Однажды Анна отправилась с мужем в Тернат, что в нескольких лье от Брюсселя. Исаак пожелал снять замок в его окрестностях. Они пришли на станцию и сели в дилижанс. На скамье напротив с гордым видом сидел молодой человек с яркой юной красоткой. Исаак, отводя портьеру, высовывал голову наружу и кстати и некстати поминутно восклицал: «Эх

ты! Красивые деревья, высокое небо, прелестные маленькие птички, весна — вот пробуждение природы! Господь Бог свое дело знает. Ах, сладко, должно быть, жить в деревне! Правда, дорогая? — И Исаак нежно жал Анне руку. — Напьемся молока, наедемся сливочного сыру...»

Анна холодно выслушивала все эти пошлости, зная, что не для супружеской любви решил Исаак снять деревенское жилье. Она глаз не могла оторвать от юной пары, сидевшей напротив. Они не перемолвились ни словечком, не пожимали друг другу руки, но Анна подмечала, какими страстными тайными взглядами обменивались они, какой глубокой любовью оба дышали. Очевидно, эта юная пара была из тех, чья свадьба сладилась в пылу молодости; взглянувший на них поэт короновал бы их венком из боярышника: сегодняшние цветы уже завтра превратятся в колючки. Они вышли из дилижанса вместе с Исааком и Анной и тут же принялись бегать взапуски, строя всяческие проказы друг другу: в этих детях говорил голос самой природы.

Невыносимый жар подымался от земли и палил с небес. В широких полях повсюду, насколько хватал глаз, Анна видела все вокруг ослепительным, огненно-ярким: истомившиеся от зноя гибкие стебли цветущей ржи сгибались от ветра, который, пролетая над ни-



ми, пропитывался их ароматом; ивы с аккуратно подстриженными кронами, каких так много в деревне, словно на глазах разбухали от переполнявших их жизненных соков. Жить, жить! — казалось, шептали побеги хмеля, обвиваясь вокруг бесчисленных колышков; любить! — казалось, чирикали птички, вприпрыжку догонявшие друг друга; счастье! юность! сила! — говорили нежные луговые травы, быстротекущие воды, трепещущие тополя, мощные дубы и ослепительное солнце, проливавшее потоки живительного света на кипящую жизнью землю. Анна опустила голову и подумала об Оттевааре.

Прогулка у Исаака и Анны получилась невеселой — да так всегда и бывает, если каждый из спутников погружен в собственные мысли. Так дошли до Дильбека. Вдруг оба услышали крики, увидели поднимающиеся вдали облака густой пыли, потом показалась толпа, сперва они не могли ничего различить в густых пыльных клубах, кроме белых пятен лиц и голубых блуз, и вдруг содрогнулись от ужаса, когда почти рядом с ними, быстрая как ветер, мимо пронеслась женщина, преследуемая визжащей толпой мальчуганов. У этой женщины было красивое, холодное и жестокое лицо, распустившиеся волосы хлестали ее по плечам, сильно расцарапанная щека кровоточила, платок спустился и бился на спине, а ноги были обнажены. Казалось, ее юбку, от которой остались одни лохмотья,

порвали в яростной схватке; чтобы бежать быстрее, она сняла сабо и улепетывала, держа их в руках. Камни, пыль, куски навоза в изобилии летели ей вслед. Случалось, что она поворачивалась, угрожая мальчишкам или проклиная их; но тогда улюлюканье становилось вдвое громче, а камни летели дождем. Едва скрылась за поворотом одна страшная толпа, как навстречу Анне и Исааку высыпала другая. На сей раз гнались за мужчиной, и не только мальчишки, но и взрослые крестьяне. Тот удирал быстрее вспугнутого оленя. Мертвенно-бледный, опухший, тоже держа в руках сабо, он бежал с жалким лицом, выразившим неподдельный ужас, ибо ему вслед кидали уже не камни или навоз, а вилы и острые мотыги, сверкавшие на солнце как настоящие орудия убийства. Исаак и Анна едва успели отшатнуться, услышав топот его голых ног, с головокружительной быстротой пронесшихся мимо и взметнувших клубы пыли: Крестьяне, увидев, что не смогут догнать его, остановились и принялись орать: «Laffaerd! Laffaerd, moordenaer! Overspeeler!» (трус, подонок, убийца, прелюбодей); в ужасе поглядев друг на друга, Исаак и Анна поспешили в Дильбек, чтобы узнать причину драмы: они вышли на центральную площадь.

Высоченная женщина с красным лицом и мускулистыми руками, открытыми до локтей, плакала, вытирая слезы передником.

— Сыночек мой, — хрипло голосила она, — да ведь они бы убили его, ах сука, ах подонки!

— Да утихомирься, мамаша, — уговаривала ее одна из соседок, — уж ты их хорошенько проучила, а сынок твой теперь свободен.

— Сыночек, бедный сыночек мой, — рыдала женщина. Вдруг она увидела в толпе Анну. — Вот, — сказала она, — вот городская дама, уж она-то никогда не обманет мужа своего, такая уж ни-ни. И не краснейте, госпожа. О-хо-хо! случается же на свете такое, отчего бы и Господу нашему стало дурно! — Она взяла Анну за руку. — Взгляните, — сказала она, вводя ее в просторную деревенскую кухню, — там, подальше, где много тени, в том кресле, жалкое и больное существо. Вот такой он, мой сыночек, вот такой. Каково тебе сейчас, мальчик мой? — Мужчина дернул головой и страшным жестом провел рукой по горлу. — Немой, бедняга, — продолжала мать, — я все стараюсь сделать так, чтобы ты хоть что-нибудь сказал, но ведь дар речи вернется к тебе, это я, мать твоя, тебе говорю. С виду-то он не злой: ведь правда, никому не захочется такого обидеть? И ведь не уродец какой: вы бы посмотрели, как он выглядит при солнечном свете. Ну так вот, два года тому этот несчастный женился на девушке из Боондаля, на той самой, которую вы только

сейчас видели, надеюсь, ее убили на дороге. — Мужчина застонал. — Не плачь, сыночек мой, все кончено. Эта девушка за него вышла, да не потому, что очень любила, а просто я дала дитяти своему несколько полновесных тысяч франков, четыре пары лошадей, столько же быков и коров и сорок овец. Тогда это был один из первых парней на деревне, как вдруг год назад, уж не знаю, как все случилось, взял да и обездвижил совсем. Сука, которую вы видели, как она улепетывала, она-то и есть его жена, вместо того чтобы ухаживать за мужем-паралитиком, завела себе любовника, и оба захотели его уморить, чтобы им досталось после него все добро, да не посмели ни ножом пырнуть, ни отравы подсыпать. И вишь чего они тогда удумали, — мать покраснела, — предаваться утехам прямо у него на глазах, потому что каждый раз, как они такое делали, у бедняги, который не мог никого позвать криком, случался страшный приступ ярости, вот они и рассчитали, что один из таких приступов его убьет.

— О нет, — сказала Анна, — такого просто не может быть...

— Не может, — продолжала женщина, — а вот я только что невзначай вошла в дом, да и застала их тут за этим делом... Сыночек мой потерял и силы, и соображение и теперь только и может, что стонать. Но я с тобой, мой бед-

ный Хендрик, — сказала она, целуя мужчину в лоб, — если жена злая, так мать добрая, так-то вот, сыночка ты мой, они тебя уморить хотели, а я тебя вылечу. — Мужчина поднял сжатый кулак — Успокойся, немой бедняга, — сказала она, — ты отомщен как положено, сам видел, я их схватила и так отколошматила, что оба стали как тряпки. Хватает еще силушки в руках у старухи матери, когда ей приходится мстить за своего сыночку. Я и на роже у этой потаскухи отметину оставила своими ногтями, и чепец с одежкой на ней растерзала, а мужика просто в луже изваляла, вот в этой самой, что у них под ногами. Он ушел в таком виде, какой ему под стать.

— Есть Высший Судия, — сказала Анна.

— Да судей-то и в Брюсселе полным-полно, — ответила мать.

Анна, дрожа от ужаса, хотела выйти на улицу.

— Посторонитесь, — сказала ей крестьянка, входившая с ведром, — нужно вымыть весь дом.

Исаак и Анна уехали из Дильбека с тяжелым чувством. Много ночей подряд Анне снилось, что ее, как неверную жену, забрасывает грязью толпа, с улюлюканьем бегущая за ней. Каждый раз после такого сна она просыпалась вся мокрая от слез. Она не хотела никуда выходить, отказывалась даже садиться у окна.

## XXVII

Случайно Каттау наткнулась в секретере Исаака на два письма от незнакомого друга. Она показала их Анне, та прочитала, пожалала плечами и велела Каттау положить их туда, откуда та их взяла.

В одно октябрьское утро Анна вышла из дому, лил дождь; она шла навестить отца, которого в его маленьком домике на набережной Трав приковал к постели приступ подагры. Браф трусил рядом. Напротив располагался кабачок «Испанская корона». Там за стаканчиком черносмородиновой наливки сидел незнакомец. Как только захлопнулись ворота, он бросил на стойку несколько монет и вышел из кабачка. Его лицо в очках было отекившим и белым как мел, засаленный редингот: слишком длинен, шляпа линялая, панталоны чересчур коротки, а башмаки просили каши. Вынув из кармана книжечку в сафьяновом переплете, он пошел следом за Анной, не забывая вскидывать на нее глаза поверх книжных страниц. Так они дошли до Рыночной площади.

Тут Браф как раз распугал стаю воробьев и бросился их ловить; наткнувшись на стоявшего поперек дороги господина с книгой, он повалил его, отчего тот испустил несколько громких воплей, позвал на помощь, потом встал и гневно и безнадежно поглядел на свои

шляпу, книгу и трость, валявшиеся в грязи. Браф давно скрылся с глаз, зато сбежавшиеся мальчишки принялись радостно свистеть.

Не обращая ни малейшего внимания на их свист, он поднял трость и сунул ее под мышку, наскоро причесался и нашел приют в расположенной по соседству лавочке, где спросил стаканчик черносмородиновой.

Потом вытащил из кармана хлопковый платочек, стер им грязь с книги в сафьяновом переплете и, увидев, как она испачкана, произнес: «О полный чистого благородства Гораций, как недостойно тебя замарали!»

## XXVIII

— Госпожа, — сказала Каттау еще через несколько дней, — почтальон только что принес хозяину это письмо. На нем та же подпись, что и на тех двух.

Анна приказала сломать печать и прочитала следующее:

Сударь,

пусть мне суждено оказаться несчастной жертвою самых ужасных мук, пусть извывают меня в грязи или я погибну, искусанный дикими зверями, — но мой долг, сударь, предупредить вас, что сегодня ночью к вам в сад влез человек, что почтеннейшая супруга ваша

стояла у окна и потом вышла, разговаривала с этим мужчиной и после долгой беседы, которую можно, по всей видимости, без обвиняков назвать преступным сговором, сей мужчина перепрыгнул через стену.

Сочувствующий вам друг

И.З.

А на самом деле произошло вот что. Ночью Анна была у себя одна, Исаак уехал в Брюссель, слуги отправились на деревенский бал. Анне совсем не спалось, и она вышла в сад; ночь стояла теплая и довольно светлая, рядом трусил Браф. Едва лишь она услышала чьи-то шаги, как на кромке стены вдруг выросла человеческая фигура и тут же спрыгнула в сад. Как только мужчина, присев, коснулся ногами земли, на него кинулся Браф; но пес в мгновение ока был побежден. Даже не успев испугаться, Анна с радостью услышала мягкий голос, говоривший:

— Не бойтесь, сударыня, я хотел видеть вас, и вот я вижу вас, а теперь, если вам угодно, я уйду. Я не причиню вам никакого зла, — добавил он, — но мне приходится делать сверхчеловеческое усилие, чтобы держать вашего пса, еще минута — и либо я его задушу, либо он придушит меня: отзовите его, а потом я сделаю все, что прикажете.

Анна доверчиво подошла к Оттеваару и погладила Брафа.



— Браф, — сказала она, — ну-ка вставай.

Услыхав знакомый нежный голосок, Браф прекратил рычать и дергаться; тогда поднялся и Оттеваар. Браф изготовился снова схватить его, но посмотрел на Анну, как бы спрашивая у нее, не напал ли он на друга.

Оттеваар стоял перед Анной: ничто не нарушало безмолвного ночного покоя, лишь капли росы с тихим стуком падали с древесных крон, да еще редко какая-нибудь сухая веточка, глухо прошуршав сквозь листву, плавно опускалась на землю. Анна дрожала и не находила слов. Оттеваар тоже не знал, что сказать. Анна слышала, как от сильного волнения у него стучат зубы; и к ней первой вернулась храбрость.

— Отчего же, — мягко спросила она, — вы входите сюда ночью, как вор? Разве вы не знаете, что этим рискуете обидеть меня и потерять мое расположение?

— Простите меня, — ответил Оттеваар, — правда, я не сознавал, что делаю, но ведь я так давно люблю вас и так страдаю.

— Надо уметь страдать, — сказала Анна.

— Надо, — взвился он, — зачем же надо?..

— Вы сетуете, — ответила она, — неужто в мире не осталось мужества? Тому, у кого есть все, как у вас, разве пристало лить слезы, подобно женщине? Разве нет у вас Господа, чтобы помолиться Ему, Библии, чтобы почитать

ее, и твердого сердца, чтобы поддержать вас в дни вашей жизни?

— Ого! Женщина, покорная долгу, — произнес он раздраженно, — это женщина без страдания.

— Вы злы, — сказала она.

— Я, вон оно что, — сказал Оттеваар.

Пробило три часа, небо начинало светлеть, пропел петух.

— Три часа, — произнес Оттеваар, — пора глубокого сна; твой муж даже не проснулся бы, будь я с тобой в вашей супружеской спальне. Мы сейчас одни, Анна; я могу похитить тебя, взять против твоей воли, несмотря ни на что.

— Нет той силы, — ответила Анна, — что пересилила бы душу сильных.

— Ого! Да, я знаю это, — сказал он, топнув ногою, я это вижу.

— Но на что же, на что же вы сердитесь? — спросила Анна.

— Нет, — отвечал он, — ни на что; простите меня. Сколько мне ждать моего счастья — десять лет, двадцать? Анна, госпожа моя, скажите хоть слово, одно слово.

Он умолял ее на коленях, робкий как ребенок, печальный как отвергнутый любовник, а она стояла перед ним без чепца, ее густые волосы кольцами падали на шею; грудь была полуобнажена, и широкие рукава домашнего платья, откидываясь, открывали руки до самых плени-

тельных изгибов локтя. Она была бесконечно прелестна и желанна, как сама красота.

Но Оттеваар смотрел на лоб Анны, скрывавший ее непорочные мысли; он любовался блеском ее больших карих глаз, чистых, как сама невинность, печальных и полных решимости, как у мученицы; он вслушивался в ее голос, в котором звучали стальные нотки неколебимой твердости.

— Уходите, — вдруг сказала она.

— Уходить, — повторил он покорно.

— Да, — сказала она.

Он перемахнул через стену.

С тех пор Анна думала и мечтала вслух; и слово, которое чаще всего приходило ей на уста, было слово «нет». Потом на нее находили то бесконечные истерики, то приступы беспричинного смеха; она то глубоко задумывалась, а то молча плакала.

— Ах! — часто говорила она Катгау. — Почему Господь не благословил меня детками?

## XXIX

Октябрь уж на исходе. Анна и Исаак беседуют у камина. Анна грустна, Исаак мрачен.

— Отчего, — спрашивает молодая женщина, — вот уже неделя прошла, а ты так и не съездил в Брюссель?

— Мне там нечего делать.

— Много ты купил акций на все займы?

— Много.

— А у нас осталось еще немного денег в семейной кассе?

— А зачем?

— Тут вот счета, один из них на тысячу флоринов; издержки на ремонт и расходы по содержанию фермы во Вруве-Полдер, установка умывальника... и так далее. А есть еще одно, оно поинтересней того будет. — Рука Анны дрогнула. — Это прислано от Булса, ювелира, что живет в Брюсселе.

— От Булса? Невероятно!

— Да возьми скорей, а то ты уж побледнел.

— Но ведь это... как?

— Ага, как ко мне попал этот счет. Он был адресован мне, так я письмо и вскрыла. И увидела там счет на двенадцать тысяч франков за драгоценности, которых не носила; отпирай кассу, платить нужно немедленно... отпирай же... когда я тебе ее доверила, в ней было шестьдесят тысяч франков.

— Анна, мне нужно... я должен... послушай, покричи на меня, побей меня, назови кем хочешь, но в кассе у нас нет больше ни гроша...

— Шестьдесят тысяч франков за три месяца!

— Мы продадим ферму.

— Нет. Не хватает четырнадцати тысяч франков, они у меня найдутся. — Анна сходила к себе в спальню. — Вот, — сказала она, высыпая пять

тысяч флоринов, — мое приданое, которого ты не захотел принять от отца моего. Вот еще все мои драгоценности, мы продадим их; это бриллиантовое ожерелье одно стоит больше, чем все украшения той женщины...

За драгоценности удалось выручить двадцать три тысячи франков, к которым Исаак с постыдной храбростью присовокупил пять тысяч флоринов приданого Анны.

### XXX

*Оттеваар — Анне*

Дорогая моя, страдальца добровольная, как ты проводишь дни свои? Да знаешь ли ты, что от этого умирают или сходят с ума? Смотри, сегодня будет снегопад; на дворе пасмурно, и говорят, что холодает. А были бы мы сейчас вместе? Ты представляешь нас вместе? Вот мы выходим вдвоем, ты держишь меня под руку, что за дивный сон! Словно дети, мы смеемся, мы почти бежим, прижавшись друг к другу. Быстро и по молодому мы пробегаем два десятка улиц, и вот перед нами открываются поля и вольные горизонты. Небо серое, обложное и хмурое; что нам за дело; ведь солнце в нас самих, это наша любовь, озаряющая всю эту печальную картину. Мы идем, мы разговариваем, какая радость! Что за божественная песнь! Сила и красота. Как бес-

крайня эта равнина: один поцелуй! Нет, что я, это просто мечты мои, я с ума схожу. Да, сегодня грустно, и холодно, я один и ты плачешь».

Прочитав эти несколько строчек, Анна и вправду заплакала. Потом она открыла Библию, прочла несколько строф оттуда, ища покоя, и нашла его самую малость.

### XXXI

Однажды утром Анна сказала Каттау:

— Мне надо придумать способ сделать так, чтобы мой муж привязался к нашему дому.

И способ был найден очень быстро.

Начиная с этого дня дом стал похож на настоящий райский уголок, украшенный цветами, населенный птицами, обставленный мебелью самой изысканной выделки. И завтрак, и обед, каждая трапеза превращалась в пиршество. На стол подавались исключительно старые вина и отменные мясные блюда. Как большинство мужчин, Исаак был любителем поесть, каждодневное гастрономическое великолепие так очаровало его, что он стал обходиться с женой куда ласковее.

Анна, уверовав, что добилась успеха, засияла детским счастьем; да рановато ей было радоваться. Частенько кухарка, встав на следующее утро, не могла отыскать остатков вчерашнего обеда.

Вдобавок и вертлюги входных ворот, и комнатные затворы, и замок первого этажа, задвижки, ключи и засовы чья-то незримая рука так густо смазывала жиром, что поворачиваясь и отворяясь, они поскрипывали совсем неслышно, словно были не выкованы из железа, а сшиты из шелка.

## XXXII

Падает снег, легкими хлопьями мягко опускаясь на землю; ни шороха, ни ветерка; глубокий покой, невыразимое умиротворение разлиты вокруг; от того, что газовый свет ярко освещает падающие снежинки, фонари словно в ореоле мерцающей ваты; наступает ночь, на всех колокольнях глухо бьет одиннадцать.

Анна выходит из дома, Браф трусит рядом; срывая с руки часы, она ломает на них цепочку, отстегивает браслеты. «Не стоит и вспоминать о нем», — говорит она и хочет выкинуть их в сугроб, как вдруг мимо проходит девица. «Эх, кума-кумушка, — говорит она, — а для моего-то ремесла сегодня погода скверная». — «Подойди, — отвечает Анна, — я тебе кое-что подарю». — «Подарок, — слышит девица, — а ну поглядим: часы на цепочке, браслеты, кольца, это что же, надеюсь, все не фальшивое?» — «Нет», — уже пройдя мимо нее, бросает Анна. Вся ее шляпка в снегу, на плечах снега намело белым-бело, снеж-

ные хлопья так и падают ей на шаль, шелковое платье и туфельки, едва прикрывающие носок. Она почти бежит, рядом трусит Браф. Так доходит она до набережной Трав, до дома, где живет Херманн. Здесь она предполагает укрыться от холода. Она звонит в дверь, никто не открывает. Дрожащая и ооченевшая, она прижимает ухо к замку, стараясь услышать шаги на лестнице, но в ответ ни звука. Дверь заперта, она барабанит по ней кулачками, никто не откликается. Она садится на порожек, терзаясь от догадок — а что, если отец заболел или умер? Холодный пот течет по всему ее телу; в текучих водах Лиса\*, на лодках, на набережной, повсюду чудится ей рой преследующих ее смутных и зловещих образов; «Ах! — говорит она, — и зачем только нужны в домах двери?» Мимо идет лодочник, он возвращается из кабачка. «Что ты тут делаешь, красотка?» — спрашивает он. «Я стучу, — отвечает Анна, — стучу в дверь отца моего». — «Да он дрыхнет, — отвечает лодочник, — а чтобы разбудить Херманна, когда он дрыхнет, придется трубить в самуюзвонкуютрубу. Хочешь, пойдемкомневлодку?» — «Нет, я лучше подожду здесь». — «Как скажешь; тут лежать-то будет жестко, да и постель вся сырая. Спокойной ночи». Лодочник уходит. Анна не находит себе места, прохаживаясь у дома и заглядывая в безмолвные окна,

---

\* Лис — приток Эско.



а снег все падает в воды Лиса, шурша глухо и монотонно. Так проходит час. «Терпение, — твердит Анна, призывая на помощь остаток сил, надежд и мужества, — по мне, мучиться от холода лучше, чем страдать от скорби». Но тут черные мысли вновь одолевают ее, и она кричит: «Отец, почему ты никак не проснешься? Ты не слышишь, как ты мне нужен?» Ее одежды промокли до нитки. Вновь она присела на порожек и заколотила в дверь каблучком. Сторожевые псы на лодках давно уже заливались яростным лаем, Браф рычал в ответ. «Замолчи, Браф, — сказала Анна так весело, как только могла, — это их дело такое собачье». На капитанский мостик вышел хозяин одной из лодок. «Эй, баба, — сказал он, увидев Анну, — иди отсюда, нашла место, где заняться любовью»: он принял Брафа за мужчину. Потом он спустился обратно. Услышав ответный лай, собаки замолчали. Воцарилось безмолвие, тишина стала мертвой. В два часа ночи ветер внезапно переменялся с южного на северный, и снежные хлопья сильным тяжелым вихрем застучали в дверь вперемешку с градом. Анна подумала, что сейчас умрет от холода. Вдруг в глаза ей сверкнул медный ошейник Брафа, и она сообразила, что может кинуть его в оконное стекло, тогда Херманн неминуемо проснется. Она уж было решила, что спасена, но ошейник был заперт и открывался только ключом, а ключа у нее не

было. Она попробовала снять его через голову собаки — безуспешно. «Камень, — подумала Анна, — вот что было бы еще лучше». Она поискала под ногами, в снегу, нашла черепок от кувшина и запустила им в окно. Прислушиваясь, не шелохнется ли что-нибудь в доме, вдруг увидела, как залаявший Браф пустился бежать к господину, шедшему сюда от церкви Святого Михаила.

— Эй, там! — крикнул этот человек. — Кому это вздумалось побить у меня стекла!

— Мне, батюшка, — радостно ответила Анна. — А откуда ты идешь так поздно? — прибавила она.

— Со свадебного пира, — сказал Херманн. — А ты?

— Из дома, в котором только что распался брак.

— Твой?

— Мой.

— Да так и лучше. Входи, дитя мое.

### XXXIII

Когда отец с дочерью вдоволь наобнимались, крепко и от всей души, в очаге уже весело потрескивали поленья, а одежды Анны совсем высохли, Херманн сказал:

— А теперь, дочка, — рассказывай, как тебе привалило такое счастье.

— Слушай же, отец. Сколько времени уже Каттау, видя, что я страдаю, все ходила за мною и, качая головой, то и дело повторяла: «Ах! если б госпожа знала. Она теперь живет в Генте». Я лучше нее знала, о чем она хочет сказать мне; Исаак мне изменял. Чтобы вернуть его, я испробовала все: доброту, нежность, ласки, все было безуспешно; я прибегла к наилучшему средству, обустроив домашний уют. Сейчас ты услышишь, чем он отплатил мне за это. Нынче ночью, в одиннадцать, ко мне в спальню вдруг ворвалась Каттау. «Госпожа, — живо произнесла она полусшепотом, — она здесь». — «Кто?» — «Любовница хозяина». Его любовница, понимаешь, отец, у меня в доме, в этом убранстве, которое я мечтала превратить в священное царствие веселья и спокойствия духа. «Госпожа, спускайтесь потихоньку, — шепнула мне Каттау, — они внизу, в столовой». Я так и поступила, как сказала мне Каттау, и вот я спускаюсь, вхожу в прихожую, вижу лучик света, выбивающийся из-под двери, открываю, они сидели там, и она прижималась к нему. Фу! Они ужинали в моем доме, оба пьяные. На столе было полно еды и стояли бутылки. Ну и женщина! Размалеванная кукла, белая, опухшая, на щеках пятна румян, взгляд потухший и вызывающий, а уж жирна так, что в этом что-то нездоровое. Он со злостью оторвался от нее и окинул меня оскорбительным взглядом. «Зачем вы пришли, — гово-

рит, — идите к себе спать!» Видя, что я не слушаюсь, он хотел было броситься на меня, но пошатнулся и едва не упал. Женщина, которая курила, растянувшись в кресле, бросила с ухмылкой: «Ну и ну, малыш, а ведь я думала, ты покрепче». — «Прочь, — крикнул он мне, — идите к себе, или я вас...» И он занес кулак. «Эге, малыш, — говорит женщина, — уж это совсем не по-джентльменски». — «Послушай же», — говорю я ему. «Послушать тебя, — взвился он, — как будто я не знаю, что ты мне скажешь, — ах, ты ревнуешь, не так ли, и тебе очень не нравится, что я привел сюда это восхитительное создание». — «Малыш, — говорит женщина, — да ты дурак». — «Ревную, — говорю я, — о нет, Исаак, ревность тут ни при чем, ибо ни за какое золото мира я не соглашусь больше ни минуты ни уважать, ни любить вас. С этого мгновения я считаю себя свободной, так что вернуться к вам меня не смогут заставить ни законы, ни суды». Он ухмылялся. «Я отдала тебе все, — продолжала я, — свою молодость, красоту, преданность, — все. Того, что я сделала, достаточно, я ничем тебе не обязана и ухожу от тебя без всякой ненависти, Исаак, желая тебе, если ты сможешь, обрести счастье в той жалкой жизни, которая тебя ждет». Он вмиг растерял весь свой гнев. «Вы что же это, — спросил он, — и в самом деле уходите?» — «Да, — отвечаю я, — и вы сами знаете, что так лучше». Он немного поду-

мал. «Вы правы», — отвечал он. И вот я здесь, отец.

Через три дня к Херманну доставили письмо от Исаака, в котором он испрашивал развода по обоюдному согласию супругов.

### XXXIV

На другой день Оттеваару принесли фламандскую Библию в поистине роскошном переплете. Такие издания обычно дарились в самых торжественных случаях. Обрез страниц был покрыт позолотой, а обложка сделана из черной кожи с пунцовой каймой. На первой странице чья-то рука, видимо дрожавшая от волнения, написала большими буквами:

«Анне Херманн, овечке моей, в день ее крещения, твой отец Йозефус дарит этого друга.

7 июля 1839».

Для Оттеваара не было секретом, что священная книга и вправду была другом Анны и ее спутником.

— Посмотрим, — решил он, — не прочту ли я здесь историю ее сердца.

И в самом деле, дата 29 ноября 1857 года — день, когда Анна получила от Оттеваара первое письмо, — была написана рядом со следующими строфами:

«На глазах у птиц напрасно расставляется сеть».

Другие многозначительные строки были отмечены рядом точек, проколотых швейной иглой:

«Творящий прелюбодеяние погубит душу свою в безумии сердца своего».

«Благонравная жена — венец для мужа своего».

«Кто найдет добродетельную жену?»

«Уверено в ней сердце мужа ее».

«Она воздаст-ему добром, а не злом».

«Милость и прощение даруют облегчение».

А над этой ужасной строфой были пролиты слезы:

«Все дни несчастного печальны».

Оттеваар вздрогнул.

Он прочел дальше:

«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — как древо жизни».

Читая дальше, он заметил еще один омытый слезами стих:

«Вот долготерпеливый; что бы ни случилось, нет печали в сердце его».

В полу платья бросается жребий, но все решение его — от Господа».

Оттеваар перелистал и опять увидел подчеркнутое место:

«Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился

кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был».

«Доколе?» — сам себя спросил Оттеваар.

Следующий стих словно бы отвечал ему загадочным утверждением:

«Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце».

Тут следы слез.

Ноготь Анны выделил такие слова:

«Не из камня твердыня моя, и не из бронзы плоть».

Число 29 ноября 1860 года было написано на полях страницы, где были такие стихи:

«Время плакать и время смеяться.

Время любить и время ненавидеть.

Время сберегать и время бросать».

Просияв, Оттеваар сунул Библию под мышку и чуть не бегом отправился к Херманну.

Анна ждала его. Увидев, что он входит в дом, она указала на него отцу.

— Вот, — произнесла она, — тот, о ком я тебе рассказала.

Оттеваар вошел. Он направился сразу к ней, не обратив внимания ни на Брафа, ни на Херманна.

— Ты любишь меня? — спросил он.

— Да, — ответила она.

И рассказала обо всем, что произошло.

Оттеваар взял ее лицо в свои руки.

— Несчастливая пленница, заживо погребенная в черной клетке, — сказал он, — вот и для тебя солнце взошло.

— И теперь там так светло, — ответила Анна, по-детски хлопнув себя по лбу.

— А случись тому, — спросил Херманн, — что Исаак не расторгнул бы ваших супружеских уз, — ты так и оставалась бы верной ему и умерила бы себя до гибели?

— Да, — твердо ответила Анна.

— Батюшка Херманн, — с воодушевлением кидаясь ему в ноги, промолвил Оттеваар, — желаешь ли ты, чтобы с этой минуты я был сыном твоим?

— И даже весьма желаю, — отвечал Херманн, — ведь я только что видел, как Браф-вешун лизал тебе руку. А это значит, что он дает согласие.



## СМИРЕННОЕ ПРОШЕНИЕ КОМЕТЕ

*1 марта 1857 года.*

Извещают, сударыня, что вы пожелаете к нам совсем скоро. Да неужто и вправду для того, чтобы разрушить наш маленький земной шарик и истребить всех суесящихся на его поверхности человечков? Неужто нам и вправду суждено еще лишь единожды узреть теплую весну, солнечный свет и красивые цветы? Вправду ли вы станете лупить без разбору и по добрякам, и по злодеям? Я отказываюсь верить, до того это было бы несправедливо с вашей стороны.

Я знаю столько добрых людей, достойных лучшей участи. Их великое множество, крестьян, рабочих, художников, ваятелей, музыкантов, поэтов, всех, кто зарабатывает на жизнь своими руками или головой, желая лишь одного — жить, покуда сердце бьется, и петь, покуда песня льется. Они любят вино, женщин и музыку; вовсе не желают причинять страдание кому бы то ни было, и случись им заметить под

ногами беззащитное насекомое — отведут ногу налево ли, направо ли, лишь бы не давить его.

Они любят жизнь, совершенно не задумываясь о том, что их ждет после смерти, и наслаждаются солнечным светом и полевым цветом, нимало не беспокоясь о том, что там за гробовой доскою. Люди это бедовые, и стоит кому-нибудь из таких приунуть от неудач и отчаяться до такой степени, что захочет свести с жизнью счеты, как он немедля скажет себе: «Нищий, искусанный вшами, все лучше мертвеца, изъеденного червями». И, поплевав на руки, снова возьмется за работу, сколь бы ни была она тяжелой, отнюдь не проклиная ни Господа, ни природу, ни род человеческий. ] Рассудите же, сударыня, неужто такие добрые люди заслуживают погибели?

У них есть свои недостатки, я это признаю, да вы и сами легко отыщете тех, кто пьянствует, не зная удержу, или столь охотно предается любовным утехам, что нарушает всякие общественные приличия. Но ведь за подобные грехи не казнят, не правда ли?

Мне, сударыня, не известно, что решили вы сделать с нами, и я высказываюсь единственно на основании слухов о тех планах, каковые вам приписывают. Нас, меня и моих друзей, охватывает настоящий ужас при мысли о 13 июня, вот почему мы решились написать вам это смиренное прошение.

Если нам так уж необходимо совершенно исчезнуть, мы не станем плакать, понимая, что ни дождь, ни гром не остановишь пером. Накануне рокового дня мы обнимем наших подружек немножко крепче обычного и, если женщины заплачут, не станем бранить их за это; чтобы они развеселились, каждый скажет своей, что она и есть самая красивая, а чтобы они спели нам, мы нальем им старого вина, если оно еще останется, а если нет — тогда молодого. А на следующий день, клянусь честью, мы дождемся взрыва и умрем с песней на устах.

Но истинно говорю, не могу поверить в то, что нам предстоит сгинуть всем, и добрякам и злыдням! Быть того не может. Если бы это укладывалось в моей голове, тогда мы, при всем нашем уважении к вам, обратились бы за помощью к Господу.

Ибо, сударыня, есть высший судия, он главнее вас, и у нас есть еще время подать ему кассационную жалобу.

Да возможно ли, чтобы, зане мир уже четыре тысячи лет как признал правоту стригальщиков перед стригомыми, и у вас было такое неисчислимое время, чтобы поразмыслить о нашей грядущей судьбе, — чтобы вы пожаловали к нам для того только, чтобы истребить все, что дышит и движется.

Да возможно ли! Чтобы Господь наш все-милостивый отправил вас обобрать гусениц со

старого древа жизни, подрезать ему ветви, срубить ствол, вырвать корни его. Не может быть, не может быть, я должен верить в то, что вы справедливы.

Да понимаете ли вы, что случится с миром, поступи вы так? Благоволите дать нам позволение объяснить вам: все перед смертью будут гореть в одном неугасимом пожаре и каждый почувствует с уверенностью, что самые крепкие представления о правде и праведности ниспровергнуты в сердце его. Ибо получится так, что добро перед лицом Господа имеет ту же цену, что и зло, и можно жить и в добре и во зле, какая кому взбредет прихоть. Земной мир наш стал бы тогда зрелищем, какое представлял он собою до года 1000, когда, как говаривали, должен был разрушить его до основания огненный смерч. Простые сердцем поспешат прежде всего раздать свое имущество монахам, а тем оно и незачем будет, ибо общая участь не минет и их. Молодые и старые, блаженные и болезные, все станут торопиться пожить еще. Мир, опьянев от ужаса, высыпет на улицы, чтобы осквернить себя неслыханным развратом, и по обнаженным ногам девственниц, потерявших стыд, потекут пурпурные ручейки вина. Напьются все до полного положения риз. Старые скупердяи, вылезшие из своих нор, вынося и накопленные богатства, пожелают напоследок повеселиться как следует и умрут на первой же оргии.

Мудрецы и девы, став сатирами и вакханками, примутся непристойно потрясать тирсами\* в общественных местах. Псам будет стыдно за род человеческий.

Уж наверное, сударыня, не эту судьбу приготавливаете вы для нас, ибо, сами понимаете, не в том суть, чтобы перепахать поле, и не в том, чтобы солью засеять, а в том, чтобы плевели из него повырвать.

Вот, как нам кажется, кого надо бы изничтожить:

Первым делом крота и сову, и без всякой пощады; эти два дружка прекрасно спелись, оба злые, лицемерные, скрытные, и оба живут лишь в сумерках, а света на дух не выносят. Подумайте насчет них, сударыня.

Мак сам по себе и красив, и румян, и держится молодцом; да тут бы и дело с концом — но ведь горько ошибается он, полагая себя благороднее соседа, пшеничного колоса. Из одного приготавливают хлеб, а от другого только и проку, что крепкий сон. Один — пошлый денди-коммерсант, ведь нутро у него пустое, а другой полон сноровки и вкуса. Не то чтоб я недолголюбивал или ненавидел маков цвет, но если зарастет им все поле, так они растущим колосьям-то

---

\* *Тирс* — жезл Диониса и его спутников — вакхантов: увитая плющем и виноградом палка, увенчанная сосновой шишкой.

главная помеха, и посему не соблаговолите ли вы их совсем и выполоть?

У нас тут проживает много честных бобров, кротких и трудолюбивых. Не трогайте их, сударыня, мы вас умоляем. Однако есть среди них некоторые, что втайне собираются на сходки, где строят планы ни больше ни меньше как объявить войну не на жизнь, а на смерть всем жаворонкам, соловьям и зябликам, то есть всем артистам и всем поэтам. Кое-кто, освирепев донельзя, предлагал даже скосить все цветы на земном шаре. Утверждают они, что песни и цветы практической пользы никакой не приносят, а только зря им досаждают. Присмотритесь к этим злопахателям. Кто знает, как далеко может зайти ярость какого-нибудь бобра, которому досадили песни и цветы.

В наших лесах водится множество неизвестно откуда прилетевших попугаев с разноцветным оперением. Что ни споет жаворонок или соловей, они тут же передразнивают, и одному Богу ведомо, как так получается, что нежные звуки превращаются у них в писклявый металлический скрежет. Птицы, сударыня, совокупно шлют вам смиренное ходатайство с просьбой избавить их от этих, с позволения сказать, ученых критиканов, педантов и плагиаторов.

Не знаю, сударыня, приходилось ли вам слышать когда-нибудь, как жалобно хнычет кукушка. Эти птицы мнят себя поэтами, а на

деле попросту больные. Подчас, бывает, и спюют нежную песенку, а чаще гундосят все одно и то же. Поют они вовсе не о той меланхолии, каковую чувствует всякий, кто мыслит глубоко, и не о той вселенской скорби, что порождена злой судьбиною, — нет, печаль в их песнях сама себе льстит и собственным плачем любит, а плач-то лишь оттого, что нет никакой охоты повеселиться. Они метят на то, чтоб разжалобить нежные сердца, и считают себя самыми благородными во всем царстве пернатых. А что то и дело слезы льют, так это, по их мнению, говорит об их прѣкраснодушии. До поры до времени их меланхолическим всхлипываниям сопутствовал успех... но теперь они в упадке, ибо всем уже ясно — в глубине души кукушки-плакальщицы обыкновенные эгоистки. Остается у них еще немного верных поклонников, но чтобы они исправилсь, их сослали на окраину леса; при этом постановили нарочно для них учредить ежеквартальную премию за песню наименее слезоточивую и наименее себялюбивую. Так некоторых удалось наставить на путь истинный. Птичье собрание, сударыня, советует вам обратить внимание на остальных.

В последний день масленичного карнавала перед постом праздник повсюду, в лесах и полях. Все; вплоть до муравьишек, суетятся, хлопчут, и всяк, одевшись в живописные лохмотья, совершает тысячи безумств. Лишь кроты

и совы и тут не отступают от своего дурного нрава. «Гу! гу! — ворчат они меж собою. — Да где это видано — напялить какие-то обноски и ходить как пугала огородные? Что за манеры?»

Когда вы пожалуете к нам, сударыня, объясните наконец этим мрачным личностям, что манер и достоинства больше в том, чтобы смеяться, нежели плакать, и что уныние насылает дьявол, зато веселье — дар Божий.

А что до нас, то мы смиренно умоляем вас соблаговолить стереть с лица земли все, что злобно брызжет слюной и пресмыкается, — земляных червяков, слизней и змей.

Подумайте о тех козявках, что запасают провизии намного больше, чем им необходимо, и, набив себе брюшко, произносят проповеди о пользе умеренной жизни перед изможденными простачками.

Не забудьте, сударыня, и о попрыгунчиках-шарлатанах всех мастей; а впрочем, для тех, кто выступает на ярмарке, можно сделать исключение.

Настоятельно просим вас не щадить ни орлов, ни ястребов, ни стервятников.

Да не будет милости вашей ни львам, хотя бы и ручным, ни гиене, что жрет падаль, ни куницам, ни лисам, ни пантере или шакалу и никому из этого хитрого семейства кошачьих. Но не трогайте верных собак, выносливых бычков, плодovitых пчел, гордых коней, хорошеньких



пташек, что поют так сладко, соловушек, весельчаков зябликов и ранних жаворонков.

Да прольется благодать ваша на все цветы, и даже камелии, тюльпаны и пионы.

А теперь, сударыня, надобно сказать вам без обиняков — снизойдите вы милостиво к тем загадочным существам, что зовутся женщинами и чей характер так и остался непонятым до сей поры, невзирая на их столь частые связи с мужчинами, которых, сдается мне, они превосходят. Вечно мы их гоняем в хвост и в гриву, вчера они у нас рабыни, а сегодня мы перевозим их, словно они богини. Вот и получается, что от богов в них гордыня, а скрытность от рабынь. Все мы им позволили, кроме одного — быть такими, какие они есть. Восхищаемся себялюбивыми, а страдают порядочные. Всех женщин наставляем блюсти целомудрие — а оказавшись с ними наедине, что ни день опровергаем свои же наставления. Как щедро мы осыпаем их противоречиями: точно с куклами играем с ними, требуя ангельской добродетели, считаем их большими детьми и при этом требуем великой мудрости; сами их соблазняем, и сами же презираем тех, кто падет.

Нам известно, что они, как и мы, скроены из крови и нервов; что для жизни им, как и нам, потребно пить и есть. Но ведь мы обстругали, обузили и разукрасили их так, что эти несчастные существа, сидя за столом в нашей

мужицкой компании, едва осмеливаются дотрагиваться до яств кончиками губ.

Муж у нас имеет право убить неверную жену; однако чтобы обманутая супруга смогла пристрелить неверного мужа, такого закона нет. Любящая женщина кажется нам самым прекрасным существом из всего, что вышло из дланей Божьих: любовь, верность, самопожертвование, высокие порывы, сама беззаветная преданность во плоти, да просто ангел, сошедший на землю. И чем же мы чаще всего платим за такое счастье? Грубостью, подозрительностью и ревностью. Мы вырываем их из материнских объятий невинными, чтобы усовершенствоваться с ними в той грязной науке, каковой нас самих обучили публичные девки. Затем наша любовь угасает, и мы без угрызений совести швыряем их, оскверненных, в толпу, принося им тем самым несказанные горести. А потом, похлопывая друг друга по плечу, радостно называем себя сердцедами.

Мы придумали для них долг, платоническую любовь и целомудрие; мы приказываем им не слушать голоса их природы, поскольку ведь это только нам позволено быть счастливыми и свободными.

И все-таки, невзирая на все презрение, обиды и тиранию, испортить их нам не удалось. Сколь многие из них остаются нежными, добрыми и достойными; сколько неведомых стра-

далиц; а сколько женщин умирает, так и не познав любви, ибо так для них легче, чем терпеть грубые поцелуи дурака.

Вот как мы недалководны; зная, что у нихто в руках и есть ключ от основ общества, что первые уроки, призванные сформировать будущего мужчину, должно дать женское сердце, — мы позволяем им верить во все те глупости, которые веками заставляют краснеть нас самих.

Ах! Сударыня, вознамерьтесь вы истребить кого-нибудь из них — пусть это будут такие, что, ни в чем не нуждаясь, торгуют тем, чем должны они просто одаривать нас, и те двуличные лицемерки, что разбивают благородные сердца и в деяниях своих расчетливее, чем сам Наполеон Бонапарт; а над другими да пребудет милосердие ваше, да пусть даже и над такими оно пребудет.

Здесь, сударыня, подходит к концу наше смиренное прошение; все мы умоляем вас не истолковывать против нас эти нижайшие рассуждения, которые мы осмелились представить на ваш суд, и просим вас все, а лично я в особенности, соблаговолить считать меня вашим достойным и покорным слугой.

## ХРИТОСИК

### I

Христосик — так прозвали его крестьяне из Уккле за длинную, как у Христа, бороду и еще за то, что он вырезал из древесины фигуры святых и мадонн для деревенских церквей, — [Христосик был весьма красивым парнем; у него были живые серые глаза и высокий лоб, и он отличался невозмутимой кротостью и совершеннейшим простодушием.]

Он посвящал себя одновременно и ремеслу плотника, и благородному призванию художника: одинаково мастерски вырезал и дубовые ларчики с затейливой резьбой, и ореховые комоды, вместительные, крупные и тяжелые; с равным искусством умел он украсить и подставки для трубок, и табакерки, и сундучки, и наконечники трости, вырезанные с обворожительной тонкостью, и внушительную мебель для спален, которая долго прослужит хозяевам; наконец, он с одинаковым умением и доску мог обтесать для пола,

и набросать пугающий своим сходством шарж на старейшин коммуны и самого бургомистра, людей с безукоризненной репутацией, поскольку они умели высокомерно краснобайствовать и всегда были при набитой мошне.

Он вполне мог работать только как художник и, скорее всего, добился бы многого, но не пошел по этой дорожке, поскольку должен был кормить мать, да и слава мало его заботила. ]

Несмотря на хрупкое сложение, жаловаться на недостаток физической силы ему не приходилось, [но выказывал он ее, только если ему бросали прямой вызов, уж тогда его стальные кулаки и сноровистые руки не давали спуска тому, кто оторвал их от работы. Он был долготерпеливец и отличался неподдельной добротой: ему хоть все пальцы отдави, только мозоля не задевай, ибо в этом случае Христосик приходил в ярость и в него как будто вселялся бес.

В лучшие дни Христосику были свойственны веселость духа и дух веселья. Ему так нравились яркое солнце, вкусная еда, доброе вино и прочие радости жизни; но больше всего ему нравились женщины — и потому он хотел жениться честь по чести, как положено по правилам добродетели. ]

Живое воображение и горячее сердце быстро нарисовали перед его мысленным взором образ миниатюрной круглолицей брюнеточки с большими черными глазками, нежными и

насмешливыми, отнюдь не толстушки, но уж и никак не худенькой. Сей идеальный образ должен был отличаться такой исключительной добротой, чтобы ее бальзамическое дыхание наполняло воздух ароматами, подобно букету фиалок. Он не хотел ни брать слишком бедную, ведь он и сам на доходы от своих трудов жил скромно, ни жениться на слишком богатой, ибо сама мысль, что он станет просто жениным мужем при надменной полновластной хозяйке дома, претила ему.

В поисках своего идеала Христосик стал засматриваться на всех девушек в округе, у которых волосы были темные, особенным вниманием одаряя таких, что в дождливую погоду приподнимали юбки, давая полюбоваться изящно изогнутым носочком и красивым коленом. Пока он искал и так ничего и не находил, его взволнованное неизведанным чувством сердце доставило ему немало грустных минут: он то беспричинно краснел, то впадал в ярость, то становился томным, а подчас не-терпеливым, порывистым, вдруг проявляя нежность, необъяснимую для не посвященных в его тайну.

Неудачи, преследовавшие его в этих поисках, объяснялись только одним: {Христосик был робок, даже нелюдим и совсем не умел выставить свои достоинства в выгодном свете.} Сколько девиц, с которыми он знакомился,

совершенно неправильно истолковывали его характер и, не разглядев в нем ничего, кроме грубого вождения, давали холодный отпор, стоило ему только лишь заговорить о любви. После нескольких таких неудач им овладела печаль, и теперь он просто с меланхоличным взглядом бродил по городским улицам или полевым тропинкам, все еще надеясь отыскать свой букет фиалок.

## II

Друзьями Христосика были братья Годен, Франсуа, Жан и Николя, которые, стоило только их батюшке с матушкой отдать Богу то, что они от Него когда-то и получили, тут же вступили в совместное владение большой фермой, весьма доходной и стоявшей на Альзембергской дороге.

Хотя братья Годен и были валлонцами, они неплохо ладили с Христосиком, который был фламандцем.

Столь необычный случай вполне мог бы послужить повсеместным примером, уразумей только обе эти народности, что сила национальной сути как раз и заключена в той дружбе, какую поддерживают меж собою отдельные индивиды, этот народ составляющие, а отнюдь не в известной манере напускать на себя вид как можно свирепее, что придает им так много

сходства с ежами, обращающими свои иголки против самих себя и всего остального мира.

Старший из Годенов, Франсуа, был блондин, дородный телом и слабый духом; младший, Николя, был рыжеволос и обладал геркулесовым сложением; что касается соображения, то его он выказывал так мало, что смело можно было заподозрить, что в нем его и вовсе не было. Ночами расслабленный совершенно, он и днем тоже спал, просыпаясь лишь затем, чтобы поесть или выпить да еще с бульдожьей яростью наскакивать на тех, кто, как ему мерещилось, его чем-то обидел, и хорошенько получать сдачи; дом и хозяйство были в руках среднего брата, Жана, невысокого и тощего задумчивого брюнета.

Ферма, хоть немного оживлявшаяся, когда ее наполняли звонкие голоса братьев, горланивших деревенские песни, становилась печальной как монастырь, стоило их сестре Луизе остаться там в одиночестве. Прохожие иногда слышали доносившийся оттуда жалобный голосок, напевавший один и тот же меланхолический припев. Слово — маска, какую надевает на себя душа; в песне душа дает себе отдых; этот голос принадлежал Луизе, и он не обманывал: Луиза страдала.

Когда ей было шестнадцать лет, она вполне сошла бы за идеал Христосика. В ту пору округлое изящество ее форм, густая грива тем-



ных волос, красивая улыбка, черные бархатные глаза сделали ее самой привлекательной девицей из всех, кто в праздничный день кермессы\* прыгал бойкими ножками по наспех навощенным полам танцевальных залов Фореста, Уккле и Боондаля.

Обладавшей такими достоинствами Луизе, казалось бы, стоило только появиться, чтоб тут же сыскался муж: и правда, немедля нарисовалась целая сотня женихов, однако Луиза оказалась несговорчивой, одни казались ей слишком толстыми, другие слишком тощими; остроумных она обзывала насмешниками, а слишком добрых — простофилями; словом, играла с влюбленными как кошка с птичкой. Ее целомудренной и цельной натуре вполне хватало подобных развлечений. Мысль, что она может так и вовсе остаться без мужа, ей в голову не приходила. Но прошли годы, и часы ее жизни пробили двадцать четыре раза, отрезвив ее. Цветок красоты Луизы поблек, первые бабочки разлетелись быстрехонько, их примеру тут же последовали и другие. Она еще была красавицей, но уже не такой привлекательной, как раньше. Она поразмысли-

---

\* Кермесса — народный праздник в Бельгии и Голландии, сопровождающийся ярмарочными гуляниями и танцами; колоритные народные сценки на кермессу изображали Брейгель и Рубенс.

ла, немножко поубавила спеси и убедила себя в том, что замужество — великое таинство, которое ей надлежит в любом случае принять, что немного дородности мужчине вовсе и не повредит; что остроумие совсем не то же, что насмешка, а доброта отнюдь не то качество, за которое надо отправлять на виселицу. Отныне она всей душой желала выйти замуж. Ее желание вскоре заметила вся округа, и над ней принялись смеяться. Минуло еще четыре года, но крестьяне Уккле и окрестных сел, казалось, поклялись друг другу, что никто из них больше не предложит Луизе руку и сердце.

Несчастливая девушка всерьез задумалась о своем будущем и совсем поникла; у нее пошатнулось здоровье, вокруг запавших глаз появились круги, тайный огонь сжигал ее, и белая кожа стала отдавать желтизной; на лбу прорезались морщинки; лицо, пожираемое внутренней тревогой, истаяло, как воск на огне; подбородок казался заострившимся, на губах, пополневших и распухших, застыла горькая усмешка... Ей было двадцать восемь, а выглядела она на тридцать пять.

Луиза стала грубой, недоверчивой, раздражительной. Она прокляла дурацкую спесь, из-за которой отказала стольким достойным мужчинам и теперь оставалась одна во всем мире, без любви, без поддержки и без детей.

### III

Однажды декабрьским вечером вся троица Годен ввалилась в дом за полночь.

— Ну, Луиза, — фамильярно сказал толстяк Франсуа, — думаю, мы схватили удачу за руку, нам простертую.

— Над кем? — спросила Луиза.

— Над тобой, — отвечал Франсуа.

— Что-то я не пойму ничего.

— Во, видали жеманницу-то, а? А чего ж тогда покраснела, раз не поймешь ничего? Говорю же, мы тебе его нашли, он у нас в руках!!

— Что ты такое напридумывал себе? — хладнокровно возразил Жан. — Ты все такой же, как был, все думаешь, что как тебе хочется, так и есть, а что на самом деле, не можешь сообразить, но я вот тебе скажу, я, что ничего ты еще не нашел, в руках у тебя пусто и никого ты за руку не хватал своей толстой пятерней.

— Да в чем дело? — спросила Луиза.

— Дело такое, — ответил Жан, — мы тут неподалеку зашли к Шарлье, ну и познакомились там с одним приличным мужичком, фламандцем, который, как говорят, свою тысячу франков в год имеет, хороший резчик по дереву, зарабатывает денег довольно, на вид порядочный и мог бы составить тебе хорошую партию, Луиза...

Луиза окинула братьев хмурым взглядом, как бы говоря: у меня уже никогда не будет хорошей партии.

— И что, этот фламандец скоро придет? — спросила она, помолчав.

— Завтра он придет, — ответил Жан.

#### IV

Речь шла о Христосике; и он в самом деле явился на следующий день повидаться с Годенами, охотно поболтав с ними и особенно с Луизой, которая за беседой с ним очень оживилась. Так прошел месяц, и братья Годен теперь частенько оставляли их наедине. Луиза начинала любить Христосика за его молодость и ту доброту, какую он проявлял к ней. Однако Христосик не любил ее; рядом с ней часто бывал рассеян; он мечтал — о ком? о чем? уж наверняка о какой-то женщине, которую любил, и это была не она. Иногда она замечала, как его взгляды словно ошупывают ее лицо; эти взгляды были яркие, жаркие, но в них не было любви, а только пламень молодости.

Она тоже посматривала на Христосика, но украдкой; и тогда ее сердце стучало, щеки вваливались совсем, и при мысли, что вот и еще один красивый парень никогда не будет принадлежать ей, хотелось заплакать. Когда Луиза спала — а в деревнях спят, даже если

страдают, — она грезила о Христосике, о том, как его милая тень склоняется к ее изголовью, чтобы ласково посмотреть и сказать что-нибудь доброе. Это были прекрасные сновидения. Бывало, что он являлся ей и в кошмарах, но тогда он насмеялся над нею, над ее исхудавшим лицом, ее желанием быть счастливой, ее потребностью в любви, приходил, чтобы оттолкнуть ее, когда она с мольбой обнимала его колени, отпихнуть ногой, говоря ей: да ты ведь стара, ты уродина, убирайся вон! И тогда Луиза просыпалась вся в слезах. «Ах! — вздохнула она, по утрам глядя в зеркало. — Сдается мне, немножко радости — и красота вернулась бы к бедному моему лицу».

## V

Однажды вечером, сидя с тремя братьями и с Луизой, Христосик принялся рассуждать на свой манер о том, что такое любовь.

(Нелепо, говорил он, любить женщину, которую желаешь, больше той, которой обладаешь. Та, что уже отдалась вам полностью, стала для вас святым существом; вы знаете ее душу, вам так нравится заставлять ее сердце биться быстрее, дышать ее дыханием, которое так ароматно пахнет фиалками, и все в таком роде.

Христосик говорил долго, от воодушевления он весь побагровел.

Все Годены ничего не понимали в этой любовной метафизике, Франсуа и Николя прикусили языки, а Жан, кусавший себе губы, чтобы не расхохотаться, наконец не выдержал.

— Приятель, — сказал он, — пойдем-ка, выпьешь с нами чарку темного пивка, это тебя утихомирит.

Слегка оторопев от того, что его так бесцеремонно перебили, Христосик ответил:

— И правда, не откажусь.

Он пошел с тремя братьями, а когда те к полуночи вернулись, Луиза еще шила у погасшего очага.

## VI

Через несколько дней на ту же тему заговорил и Жан, который успел пораскинуть мозгами и сказал, с одинаковым выражением поглядывая то на Христосика, то на Луизу:

— В конце концов справедливость в том, чтобы соблазнитель женился на соблазненной им девушке, и, например, — прибавил он, — случись Луизе потерять голову из-за какого-нибудь парня, ему не отвертеться от того, чтобы поступить с ней как должно, а не то я ему живо шею намылю вон на той речке, что неподалеку.

— И правильно сделаешь, — подтвердил Франсуа.

— Черт подери, — проворчал и Николая, жестом показывая одобрение.

— Нас трое, — попросту сказал Жан.

— А силы на десятерых хватит, — снова проворчал Николая.

Христосик ничего не понял, он думал о своем; Луиза была серьезной и задумчивой.

## VII

Еще через некоторое время Христосик, отнеся только что законченного деревянного святого в альзенбергскую церковь, сам не зная зачем, завернул к Годенам. Стоял декабрьский воскресный денек, около четырех часов пополудни. Небо было синим и глубоким; над фермой, освещенной холодными лучами, витали легкие витражи розоватого тумана, рассеивавшиеся у самого горизонта. Чтобы согреться, Христосик прошел прямо в кухню. Он застал там Луизу, празднично сидевшую у огня, что было необычно для нее.

Луиза прекрасно выглядела в шелковом платье цвета анютиных глазок, в черном переднике и тонких прюнелевых башмачках. Она надела все свои украшения. Христосик подошел к ней совсем близко: она пахла фиалками. Почему в тот день она так благоухала фиалками? Почему так ярко оделась? Христосик почувствовал, как забилося сердце; она пока-

залась ему помолодевшей лет на десять. По чьему чудесному велению несчастная девушка именно сейчас показалась ему такой красивой? Она взглянула на Христосика своими большими запавшими глазами, полными тоски и жаркой страсти.

— Присаживайтесь, господин Христосик, — сказала она. — Я ведь валлонка, правильно ли я произношу ваше имя?

— Да, мамзель Луиза, — отвечал Христосик. — А я-то ведь фламандец, правильно ли я выговариваю ваше?

Занавески, против обыкновения, были задернуты, а шторы опущены. Снаружи Христосика и Луизу можно было увидеть только через дверь, которую Христосик забыл закрыть за собой, когда входил.

— Вы бы закрыли дверь, — произнесла Луиза, — сюда тянет ветром.

Христосик пошел закрывать дверь; Луиза задрожала.

— Отчего же вы дрожите, мамзель Луиза? — спросил Христосик.

— Я дрожу? — отвечала Луиза. — Что это вы вообразили себе?

Сердце Христосика, так долго стремившееся к идеалу, вдруг проснулось при виде живой, земной женщины: Христосик почувствовал, что Луиза страдала, что она его любит. Они долго и пристально посмотрели друг на



друга. Оба поняли все, глаза Луизы увлажнились, щеки порозовели, а бледные губы были поджаты: Христосик схватил стул и сел рядом, она отодвинулась вместе с креслом. Он все еще смотрел на нее так же пристально, а она на него.

— Луиза, — сказал он.

— Христосик, — сказала она.

И оказалась у него на коленях.

### VIII

Христосик уже готов был сказать Луизе: будь моей женой, как вдруг заметил, что она отвернулась. Подумав, что она плачет, он постарался заглянуть ей в глаза: (на губах ее играла победная улыбка, и это поразило доброго юношу — только что она была такой красавицей, а сейчас казалась почти уродливой.) Христосик побоялся понять. Он встал.

— Как странно, — сказал он.

— Что странно? — спросила Луиза.

— Ничего, — сухо ответил Христосик.

К пяти часам ввалились братья и потребовали чего-нибудь перекусить.

— Да не лучше ли вам уж сразу поужинать? — предложила Луиза.

В деревнях «перекусить» означает съесть что-нибудь наспех, почти на ходу, а уж если ужинать, тогда на стол ставят все, что осталось

от обеда, — мясо, пиво и прочее. Вот почему Луиза спросила братьев, не хотят ли они уж лучше поужинать, чем перекусить.

Христосик стоял лицом к очагу и, следовательно, спиной к вошедшим, и весь был поглощен созерцанием дров, которые в самой глубине камина лизал огонь; он забыл поздороваться с братьями.

— А что ж тут подделывает Христосик в такой вечерок, а? — спросил Жан, хлопнув его по плечу.

Христосик не отвечал.

— Ох уж эти фламандцы, — сказал Франсуа, — все они, черти, на один манер — пока не выпьют чарки, витают в облаках. О чем мечтаешь, Христосик?

— Ба, — сказал Николя, — да небось они с Луизой объелись тут сладких пирожков с ягодами. Луиза, ты угостила твоего дружка Христосика сладким пирожком? А мы вот поглядим, — сказал великан, дружески обхватив хрупкого юношу за плечи, — вот и поглядим, почему ты и ответить не хочешь, когда мы к тебе обращаемся?

Христосик взглянул на Луизу и просто душно ответил:

— Сердце кручинится.

— Ха, сердце у него *закрутилось*, — отозвался Николя, желая пошутить, — взгляните только на этого мусья, который стоит с таким

видом, будто у него *закрутилось*. Да откуда ж кручина у *фламина*?

Христосик выдавил сквозь зубы:

— Не знаю я откуда.

— Я это знаю, я, — сказала Луиза.

— Да ну, — хором выдохнули все трое.

— Ну а вот и да, — подтвердила она, — и расскажу все вам, пока вы сейчас будете ужинать и Христосик вам составит компанию, если только он не слишком рассердился на меня, а, Христосик?

— Да я что-то не хочу есть, — отвечал Христосик.

— Жил-был однажды, — начала Луиза так нерешительно, точно совершала какое-то преступление, — жил-был однажды юноша, и был он так красив, что все девушки сходили по нему с ума...

Христосику показалось, что Луиза сейчас выдаст его братьям с головой, что она собралась запугать его, чтобы на себе женить. Он подумал, как это все чудовищно и невыносимо.

— Да вы-то уж с ума не сошли, — строго перебил он, — знаете ведь, что сделать собираетесь?

— Господи Боже мой, — вскрикнула она побледнев, — Господи, и правда что... Я слишком поспешила к своему счастью, моя ли в том вина; Христосик, я так страдаю. Христосик, простите меня.

Христосик не отвечал, Жан нахмурил брови, пристально посмотрел на Луизу и умолк.

— Да что ж такое тут творится, — вдруг воскликнул Николя, — только сейчас Луиза вроде собиралась сказку рассказать и вдруг перестала, чтобы просить прощения у Христосика, за что прощения, почему прощения?

— Тут и сам черт со свечкой не разберется, — сказал Франсуа.

Жан все еще молчал. Это молчание, за которым угадывались понятные мысли и желание выстроить их в логический ряд, чтобы наконец огласить решение, добило Луизу. Она ужаснулась тому, что едва не совершила.

Николя вырвал ее из этой тоски.

— Ну ладно, — повторил он, — но что ж все это значит?

— Что я потеряла рассудок, — ответила Луиза.

— Обыкновенно-то вы спокойны, сестрица, — произнес Жан.

— Да они, может, тут вдвоем выпили, — предположил Николя.

Луиза мигом воспользовалась удачным моментом.

— Выпили? — переспросила она. — А что ж такого, в конце концов, в этом греха нет.

— Так где же графин? — спросил Жан.

— Графин! — сказала Луиза. — Да вот тут он, здесь.

— Почему на столе нет стаканов?

— Я их убрала.

— Зачем?

— Вымыть.

— Уж конечно, там же и графин, и в нем не найдется ни капли пивка.

— Да, и графин там же, — отозвалась Луиза.

— А где ты взяла это пиво?

— Из бочки.

— Да в ней же только и есть что наше домашнее пиво; такого гостям не предлагают.

— Христосик не любит крепкого пива.

— Не нравится мне все это, — сказал Жан, качая головой, — ну, раз Луизе ответить нечего, то у Христосика уж наверняка что-нибудь сказать найдется.

— Ничего, — отвечал Христосик, послушавшись умоляющего взгляда, который бросила на него Луиза.

— Коль вы так кратки, Христосик, — сказал Жан, — то и я скажу немногим больше вашего: одно только словцо у меня и есть: случись чего с Луизой, несчастье какое, так нас тут трое мужиков и мы заставим вас поступить как положено.

Взгляд Луизы зывал к Христосику: терпение!

— Мосье Жан, — ответил тот, — если вас тут трое, то я один, но я стою вас троих. Что до

необходимости всегда выбирать прямые дороги, то должен сказать, что никогда не нуждался в поводе, я и так не спотыкливый.

— Пусть так, — отозвался Жан, — но я имею право знать, что тут было, и вы мне сейчас об этом расскажете.

— Нет, Жан, — возразила Луиза, — вы не имеете такого права.

— Молчать, — сказал Жан, угрожающе привстав, — или я...

— Да кто тут кого боится? — хладнокровно спросил Христосик.

Франсуа и Николя набычились. Все четверо мужчин теперь стояли друг против друга нахолодившись, как петухи. Луиза с мольбой бросилась разнимать их. «Братья мои, добрые мои братики, — вскричала она. — и вы, Христосик, уймись вы все. Никто в этом доме не имеет права напасть на друга из-за меня, если я, единственная причина всего, никого не виню».

— А вот это хорошо, Луиза, хорошо сказано, — произнес Христосик, — я вас прощаю.

— Благодарю, — ответила она, совершенно ошастливленная, — ах, какой вы, какой вы добрый.

— Но, — упирался Жан, — но, Луиза... все ж таки...

— А теперь, — быстро затараторила Луиза, прикидываясь сгорающей от нетерпения, что-

бы заткнуть рот своему брату, — скажите на милость, вы что же, хотите до утра так и просидеть, глядя друг дружке в глаза? Послушай меня, Жан, я даю тебе слово любящей сестры: если мне понадобится помощь, я попрошу ее у тебя первого, славный мой братец, а сейчас успокойся. Христосик такой же, как ты. У него то же бесхитрое сердце, но и голова такая же шальная, как у тебя, и если он хочет сделать мне побольнее, то так и останется стоять с мрачным видом, вращая злыми глазами, будто готов весь мир проглотить, но лучше пусть пообреет и протянет руку моему ужасному братцу.

Христосик улыбнулся.

— Чего хочет Луиза, того хочу и я, — сказал он.

— Тогда что ж, — заключила Луиза, — исправьтесь и вы, Жан, и подайте ему руку.

Жан повиновался и, зажав руку Христосика точно в тиски, высокомерно спросил:

— Так ты честный парень?

— Честнее, чем ты думаешь, — ответил Христосик, сжимая руку Жана как апельсин, из которого он хотел выжать весь сок.

Жан не вскрикнул только из самолюбия.

## IX

Был уже поздний вечер, когда Христосик ушел с фермы; братья Годен поднялись в свои ком-

наты спать; Луиза осталась в кухне одна. Ей было слышно, как братья разделись, скинули башмаки, потом все понемножку затихло, и вот наконец они захрапели. Они назюзюкались по самые уши, как это было заведено и в Уккле, и в его окрестностях по воскресеньям.

На церковных часах пробило одиннадцать; Христосик медленно брел по дороге, происшедшее казалось ему сном, он, будто поглощенный поисками истины ученый, витал в облаках собственных мыслей. Он не видел, не слышал и не осознавал ничего вокруг себя.

Тем временем над равнинами поднимался пыльный вихрь. На горизонте, в небе тускло-го медного цвета, сверкнули быстрые молнии; грозовой зимний ветер, обычно предвещающий сильные снегопады, гнул придорожные деревья, как камыши; в небесах и над дорогой уже кружились, будто потерявшиеся, несколько крупных снежных хлопьев.

Христосик думал о Луизе, он вспоминал эту несчастную девушку, алкавшую любви, страстно желавшую выйти замуж, самозабвенно готовую отдать себя; он расслышал прозвучавший в ее голосе иной, таинственный зов, этот плач разбитых сердец, давно простившихся с мечтой быть любимыми; он видел, как она хотела любой ценой достичь своей цели, замужества, и для этого была даже способна разоблачить своего скороспе-



лого возлюбленного и предать его гневу своих братьев, но потом, спохватившись, отказалась от такой низости. В тот момент, когда доброе в ее душе победило злое, он видел, как изменилось ее лицо, и не знал, почему оно тогда словно осветилось изнутри каким-то небесным страданием. Душа Луизы представилась ему в образе одной из тех прекрасных мучениц христианского ада, которые за преступление любви осуждены вертеться на ложе, утыканном шипами, прекрасные и нагие, среди счастливых радостных пар, вкушающих первые плоды законного брака.

Луиза вообразилась ему симпатичной и страдавшей; почему же, думалось ему, не мог бы я составить счастье ее, всеми покинутой? Но холодный рассудок твердил свое: а если настанет день, говорил он, когда Луиза, сегодня такая беззащитная, возьмет и обманет тебя, бедного доверчивого мужа? [Пусть обманет меня, вскричал Христосик, зато сама она будет счастлива! ]

Глухо зарокотал гром, иссиня-бледные молнии вырвались из туч, словно разверзлась тысяча огненных ртов, подул сильный ветер, в двух шагах от Христосика простонал, треснул, согнулся и повалился на землю вяз, град и снежные хлопья, точно пляшущие в кругу бесы, пронесли над дорогой; Христосик повернул обратно; ему показалось, что дверь дома

Годенов была приоткрыта; бросившись туда и сам не заметив, как добежал, он толкнул ее.

— Тише! — произнес, изнутри дома голос Луизы. — Это вы! — вскрикнула она.

— Я, да, — отвечал он, — я решил, что надо поступить так, то есть вернуться сюда. А вы ждали меня?

— Да, — сказала Луиза, — входите, только без шума; двери в их спальни открыты.

Она прошла в кухню и сказала:

— Я зажгу лампу.

— Зачем? — спросил Христосик.

— Чтобы было светлее, — ответила она.

Поставив зажженную лампу на стол, она предложила Христосику сесть и сказала, что хочет с ним поговорить.

— Я тоже, — откликнулся он, — тоже хочу поговорить.

Он чуть помолчал, сосредотачиваясь, спрашивая у своего сердца, своей души, думая обо всем хорошем, что он чувствовал в Луизе, и о плохом, в которое не мог поверить; он честно копался в самом себе, чтобы вслух были произнесены только искренние речи. Это продолжалось секунду, а снаружи все рокотал гром.

— Луиза, — сказал он, — я не знаю, что за Бог или кой черт подстроили так, что между нами произошло то, что произошло; Луиза, я приходил сюда, к вашим братьям, вовсе не для

того, чтобы повидать вас, и тем не менее видеть вас мне доставляло удовольствие. Вы ненароком, больше из разочарования жизнью, чем из хитрости, попытались завлечь меня в ловушку. Я из-за этого не стал уважать вас меньше, чем прежде.

— Он понимает меня! — воскликнула она, просяив.

Они сели друг против друга, положив локти на стол, а между ними стояла горящая лампа.

— Да, я тебя понимаю, — снова заговорил Христосик, — поверх сказанных тобою слов я слышал иные слова, которых ты не сказала, и они были хороши; я уразумел для себя все то, что сказало и еще сейчас продолжает говорить мне это сердце, что так сильно бьется теперь в твоей груди. Ты совсем не то, чем кажешься всем, кроме меня, и ты не могла бы сделать лучше, чем ты сделала.

Луиза плакала тихими слезами.

— Как ты добр, — говорила она.

— Еще одно слово, продолжал он, — Луиза, говорю тебе чистосердечно, сурово, как подобает будущему мужу: Луиза, хочешь ты быть моей женой?

— Его женой! Он это произнес! — воскликнула она.

Потом, видимо в испуге, что крикнула слишком громко, она встала, вышла в сени и прислушалась. Сквозь гром и стук градин,

хлеставших в окно, до Христосика донесся звучный храп трех братьев Годен.

— Они спят, — сказала Луиза, возвращаясь и запирая дверь.

Она снова присела и начала:

— А теперь, Христосик, я отвечу вам. Слушайте меня хорошенько, я вам клянусь, что и в мой смертный час сказала бы то же самое, что скажу вам сейчас. Уже давно я люблю вас; быть может, я и полюбила бы кого другого, но этот другой так и не явился, так что вы первый и последний, кому я могла бы отдать свое сердце. Христосик, ни Бог, ни черт не подстраивали того, что между нами произошло; тут в первую очередь виноваты вы, а уж потом и я. Вам бы надо было понять, что такое девушка двадцати восьми лет, которая никогда не имела возлюбленного, у которой нет надежды иметь ни мужа, ни детей, и в будущем ее ждет такое одиночество, точно она убийца собственной матери. Вам должно было бы достать совести проявлять по отношению ко мне побольше холодности. Вы поступали совсем наоборот. Я привязалась к вам; тем хуже для меня, раз вы на самом деле меня не любите. Вы предлагаете мне стать вашей женой; вы утверждаете, что это идет от чистого сердца и без всякого подвоха. Сегодня я вам верю; а будет ли так же и завтра? Христосик, я не отказываю вам, совсем нет, Боже ж ты мой, но я люблю вас, и

если выйду за вас замуж, то хочу быть счастливой; я не хочу чувствовать себя обязанной вам за эту минуту воодушевления и прошу вас по временить. Если вы меня любите, то вы сюда вернетесь, а если нет — пройдете мимо дверей и даже не заглянете... и... — Луиза сжала зубы, чтобы не разрыдаться, — и... никто от этого не умрет, — закончила она.

— Если будешь плакать, я побью тебя, злое дитя, — сказал Христосик.

— Давай, бей меня, — ответила она.

Кончиком тонкого пальца она сняла слезу со своей щеки и бросила ее Христосику в лицо.

— Это принесет мне счастье, — сказал тот.

Потом, поднявшись, он взял ее лицо в свои руки, страстно поцеловал ее в лоб, в щеки и особенно в глаза, где жемчужинками еще блестели несколько слезинок. Луиза хотела оттолкнуть его, она смеялась, плакала и очень старалась было поворчать на своего возлюбленного, но никак не смогла.

Она целомудренно отвечала на его поцелуи. Наконец высвободилась из его объятий.

— Теперь, — произнесла она, — вы должны уйти, друг мой. Скоро навалит снегу, и я не хочу, чтобы вы возвращались по колена в сугробах.

— Уже, — огорчился он.

— И сию секунду, — ответила она.

— До свиданья, Луиза, — сказал Христосик, он уходил смущенный.

— До свидания, Христосик, — отвечала Луиза с насмешливой нежностью.

Христосик переступил порог фермы, сделал три шага и вернулся.

— Знай же, ты, — сказал он, — что ты прекрасна как святая Женевьева.

— Это из-за тебя, — ответила она, — да иди же наконец спать, это уж поздоровее для тебя будет, чем тут любезности мне расточать.

Она заперла дверь. Христосик направился к себе домой.

— Вот смех-то, — говорил он себе, с каждым шагом все глубже увязая в снегу, — что ж это стряслось с моим телом: я хочу одновременно плакать, смеяться и петь и порхаю, точно объевшийся винограду дрозд.

Придя к себе, он бросился в постель, но так и не смог заснуть.

## X

Каждый день Христосик приходил повидаться с Луизой, настаивая, чтобы она сказала братьям, что он жаждет вступить с нею в брачный союз. Луиза не пошла на это, ведь она-то хотела сперва окончательно убедиться, что ее возлюбленный любит ее.

Прошло два месяца. В первые весенние деньки Луиза отправилась за покупками в город; трое братьев Годен остались дома и сидели у очага. Франсуа обхватил колена руками; Никола за верстаком расщеплял толстый сучок на мелкие хворостинки, чтобы было чем связывать вязанки. Жан стоял, сложив руки за спиной, насупленный и мрачный, он курил и, казалось, думал только о затейливых клубках дыма, выплывавших из массивной головки его коротенькой трубки, — его взгляд внимательно следил за ними. Через некоторое время три брата заговорили о Луизе, и их разговор перебивал разве что монотонный и нескончаемый хруст, с которым ломались один за другим деревянные сучки на коленях у великана Николая.

— Вот умора, — говорил Франсуа, — ну и умора, ведь с тех пор, как этот фламандец сюда шагает, Луиза день ото дня хорошеет.

— Да, — отозвался Николая, — и лицом вроде посветлела.

— И взгляд поживей, чем был.

— Щеки округлились.

— Теперь она опять как молодая.

— К нам ласковее стала, — сказал Жан.

— Суп еще лучше готовит.

— И хлеб вкуснее печет.

— И на ферме стало все как надо.

— Куры-то у нее еще больше жиреют.

— Да я знаю отчего, им никогда столько овса не насыпали.

— Голос стал какой нежный, — заметил Жан.

— Это она замуж собралась, — сказал Франсуа.

— Точно, — торжествующе произнес Никола, продолжая ломать сучки, — и что ты теперь скажешь, наш Жан-умник, когда я разглядел в этом фламандце мужа Луизы, был я простофилей? Прав я был или не прав? В какую сторону сейчас дует ветерок?

— В сторону свадьбы, — подтвердил Франсуа, — это уж конечно.

— Надеюсь, — мрачно отозвался Жан.

Христосик часто навещался к своей избраннице.

Иногда Луиза с иронической встревоженностью осведомлялась у него, нет ли каких новостей с запахом, как у букета фиалок. Она ревновала к тому идеальному образу, о котором Христосик в минуту воодушевления страстно поведал ей, не преминув добавить, что она всем на этот идеал похожа.

И все-таки Луиза сомневалась в правдивости его умиротворяющих слов. Ее страшило, что слишком живое и иногда капризное воображение Христосика может быть опасным для их будущего счастья; она хотела видеть его чуть менее скульптором, гораздо более плотником:



она не осмеливалась высказать этого со всей ясностью, но ее мучило смутное предчувствие, что в один прекрасный день Христосик может встретить в городе или где-нибудь неподалеку ту, что покажется ему больше похожей на его идеал и, главное, помоложе ее, а тогда уж... но ведь, успокаивала она себя, Христосик человек порядочный и не захочет меня обмануть.

## XI

Как-то в апрельский понедельник Христосик отправился в Брюссель с намерением купить рябиновой древесины для нового ларчика, который должен был стать настоящим шедевром; заказчик обещал не скупиться.

Задумавшись, Христосик спустился по улице Магдалины. Про себя он рассуждал так: «Этот ларчик я сделаю таким-то и таким-то манером, один серебряный орнамент положу тут, а другой там; ведь нужно сделать вещь и внушительную, и затейливую; на крышке вырежу цветочки и букашек, по бокам стебельки диковинных трав. Проработаю всю ночь, быстро закончу, а вырученные деньги пойдут на подвенечное платье Луизе».

Вдруг, свернув на улицу де ля Монтань, он увидел, как прямо ему навстречу шествует, словно гордо бахвалясь красотой, обворожительное создание. Очарованный, он стал

столбом, глядя на этот высокий и чистый лоб, облик, одновременно простодушный и сладострастный, нежные и ласковые черные глаза, свежий, как роза, ротик, на который, казалось, сам Бог положил улыбку; из широкого рукава черного бархатного пальто виднелась белая и пухлая ручка, заставляющая мысленно дорисовывать контуры всего остального, такие божественные, что перед ними померкли бы даже округлости святых дев самого Мурильо, поэта форм. Одна рука дамы была в лиловой перчатке, а другая, белоснежная и крохотная, держала преогромный букет фиалок. Ее черную бархатную шляпу украшали ленты цвета анютиных глазок; повсюду цвели фиалки, своей нежной скромностью оттеняя восхитительное сияние ее красоты.

Это была она, она самая, его идеал, искомый, лелеемый; Христосик стоял, онемев от изумления и восхищения. Дама улыбнулась столь простодушному и непосредственному обожанию.

## XII

Оба стояли на тротуаре, с полминуты глядя прямо друг на друга. У Христосика словно помутилось в глазах: внутри все закипело, голова закружилась и мозг будто ошпарил пламенный поток мыслей. Он вообразил себя перенесен-

ным в покои дамы; он как будто шел следом за ней, ступая по ковру, который был еще пушистее, чем представлялось ему в мечтах; на стенах сверкали всевозможные роскошные и модные безделушки; такие же лежали на этажерках, украшали мраморные камины и отражались в бесчисленных зеркалах, обрамленных матово поблескивавшим золотом. Он видел себя там, среди шикарно одетых мужчин и дам, сплошь таких же красавиц, как она сама. Она кокетничала, насмехаясь над ним, а он не мог стереть с лица смуглый загар, а с жилистых рук — мозоли. Он чувствовал, как его задевают оскорбительно-вежливые взгляды, как раздражают реплики с двойным смыслом, ответить на которые подобающе он не способен; лицемерная елейность и благодушные речи причиняли ему сильную душевную боль. Ему захотелось прирезать всех этих денди, тогда бы он не казался их жenuшкам таким недотепой. (В один миг в нем пробудилось сразу все дурное: тщеславие, неуместная гордыня, жажда суетного успеха обузили его душу и сжали ее будто в тисках. Счастливый трудяга, беспечный, простой и добрый, превратился в светского хлыща, лицемерного притвору. И в этот миг он страдал так, как еще никогда не страдал.)

Он так и стоял столбом на тротуаре, ничего не видя, ничего не слыша, погруженный в мечту, полный восторга.

— Извольте посторониться, мужичье! — вдруг произнес насмешливый голос красавчика лакея.

Христосик обернулся и увидел слугу в голубой, расшитой золотом ливрее.

Машинально он отступил, пропуская слугу, потер глаза, как будто его только что разбудили, отряхнулся и не пришел в себя до тех пор, пока не потерял из виду даму, которая с гордым достоинством удалялась, поддерживая руками широкие складки своего шелкового платья.

Чтобы пробудиться от дурного сна, ему все-таки хватило одной минуты.

— Эге, — тихо рассмеялся он себе под нос, — вот куда меня занесло-то, э-ге-ге-ге-ге!

Неделю спустя Христосик женился на Луизе.

А та доказала, что была права, говоря, что немного радости могло бы ей вернуть былую прелесть. Она счастлива, и она настоящая красавица.

## ПРИЗРАКИ

Все его звали попросту Жером; старик, он был крепыш, живой как ртуть; и бодрый духом, и по-юношески статный, он был всем мил — ведь редкость в мире красота поры закатной; и вот он отошел в последний путь. Он умер, не вздохнув, не сетуя, не плача; промолвив лишь: «А ду- мал — сколько добрых дел еще б я совершил; но тот, кто Всемогущ, иначе все решил — что ж, уступаю место, пожелав новоприбывшему удачи».

Все деревенские жители в рабочей одежде шли следом за гробом, мужчины, дети и женщины, и я прекрасно видел, как потрясла его смерть эти простые сердца, как в глубине души все скорбели о нем.

А ведь его, старика Жерома, считали за сумасшедшего; и в самом деле, обладать состоянием и спать на соломе, предпочесть суете наших городов леса, поля, уединение и деревенскую тишь, заботиться обо всех вокруг, а самому долгие и долгие месяцы жить одиноким вол-

ком — да что ж еще надо, чтобы добрые крестьяне подумали, что вы совсем лишились ума? ]

Я познакомился с ним вот как. Однажды в сентябрьский денек я одиноко бродил по лесу в послеполуденный час и присел на мох на краю поляны, вересковые заросли которой, трепетавшие под свежим ветерком, казались совсем розовыми. Я прислушался: казалось, роща пела. Вокруг меня и над моей головой были солнце, цветы, высокие кроны деревьев, свежий воздух. Меня переполняло счастье, и вдруг очень захотелось курить, а у меня не было при себе ни трубки, ни табаку, и никакого способа их раздобыть. Усилием воли мне приходилось подавлять это желание, уже становившееся навязчивой идеей. Рассеянность охватила меня, я разволновался и погрузился. Чувство счастья словно из-под носа унес дьявол. Мимо прошли несколько крестьян; они не курили. Я страдал. Мои смехотворные муки тянулись с добрый час, пока наконец я не услышал позади треск ветвей — кто-то продирался сквозь густые заросли. Вот он вышел из них, и он курил. Я подскочил к нему и без церемоний спросил, не найдется ли у него трубки и табаку. Он протянул мне свою, только что набитую. Я осведомился, кого мне благословлять за такую удачу, и он ответил, что его зовут Жером.

Поскольку добро, данное мне взаимнообразно, следовало ему возратить, я пошагал рядом

с ним. Сперва он все больше помалкивал. Следуя его примеру, я проявлял такую же сдержанность; однако, перебросившись со мной несколькими короткими словами, он наконец разомкнул уста и понемногу разговаривался. Жером выглядел человеком крепкого сложения, лет шестидесяти на вид, — но какая юная душа в этом пожившем теле, сколько жизни чувствовалось в той краткости, с которой он выражал восхищение природой, какое прямотуше, какое замечательное вольнолюбие, какая сила! С первого взгляда он показался мне одним из по-настоящему простых людей, понемножку встречающихся там и сям; }здравый смысл и мыслящий дух, язвительный по отношению ко всякой суетности. [Его сердце исполнено было той самой прекрасной поэзии, которая суть не что иное, как чувство истины и справедливости. Но позже я понял, что в стремлении его духа ко всему фантастическому есть много немецкого влияния; стоило ему увлечься, и сами мысли для него становились диковинными существами, исполнявшими свои роли в таинственной драме. Быть может, именно поэтому крестьяне и считали его склонным к безумию.

[Он имел порядочное состояние, чтобы ничего не делать, и все-таки трудился, рабо-

тал в поле, рисовал, корпел над науками, каждый день обогащал свои знания. ]

Вот мы уже и на дороге, ведущей к Эспинетту\*.

— Не хотите ли выпить и закусить? — спрашивает Жером.

— И то и другое, — отвечаю я.

— Так входите же.

Тут мы как раз оказались перед большой одноэтажной фермой, чья соломенная крыша довольно точно изображала спину огромной рыбы.

Внутри был большой камин, он наполовину потух, но догоравшие дрова еще потрескивали в нем Гостиная, остов которой был стрельчатой формы без потолка, так что она располагалась прямо под открытым небом, походила на готическую часовню и была обита старинной фламандской кожей; по стенам были развешаны скелеты людей и животных, ковчезцы, чучела птиц и разные виды оружия со всех краев света. Посреди этой выставки редкостей, намеренно повешенный так, чтобы самые яркие лучи солнца играли на нем, казалось, излучал сияние роскошный женский портрет. Под этим портретом, который, совершенно оче-

---

\* *Эспинетт* — название маленькой деревушки к югу от Брюсселя, в лесу Суань, которая с XVII века служила местом отдыха охотников.



видно, был средоточием всех мыслей старика, стояла скрипка, его любимый музыкальный инструмент.

Жером сам накрыл на стол; пока мы с ним беседовали, отзвенели все ночные часы; солнце уже всходило, когда я, взволнованный до глубины души и уже полюбивший моего нового друга, как отца родного, покинул его.

Прошло немного времени, и я снова посетил его — и Бог свидетель, как часто я приходил к нему по уши забрызганным лесной грязью и промокшим до нитки. Вскоре он понял, как я привязался к нему, и мало-помалу, начав с нескольких слов, невзначай оброненных в разговоре, принялся рассказывать мне о своей жизни. Родился он в Генте, был художником, и, глядя на портрет, висевший на стене, я не сомневался в его таланте. Однажды, указав мне на этот портрет, он вымолвил: «Ее никак нельзя было назвать ангелом — нет, это была настоящая женщина, вот за что я и любил ее. Стремительная как молния, искрометная как шампанское, складная как пшеничный колосок, беспечная словно пташка небесная, она всю свою жизнь была для меня всем на свете, как и я был всем для нее. У меня не было в жизни никакой другой любви. (Мы не клялись друг другу в верности, никогда не говорили, что любим друг друга, но мы самоотверженно посвятили друг другу наши жизни.) Она была

из той породы фламандских женщин, для которых слова ничего не стоили, главное — деяния, а обманывать невозможно. В тот день, когда она разлюбила меня, она просто сказала: уходи.

А мне казалось, что во веки веков ничему не разлучить нас; я думал, всему не будет конца. Не будем больше об этом, — оборвал он сам себя. И вдруг продолжил голосом, в котором звучала глухая скорбь: — Когда она умерла, мне было тридцать лет; но ни на мгновение не оставила меня память о ней. Сплю я или бодрствую, она всегда рядом со мной. Моя жизнь протекает так, словно она еще жива; для нее я рисую, мечтаю, играю на этой скрипочке, звуки которой она так любила. Я творю добро, думая о ней, и не сомневаюсь, что встречу ее там, в горней вышине».

Вот что я знаю о Жероме; а теперь я расскажу вам, в чем заключалось его безумие, если это вообще можно называть безумием. Как-то летним вечерком, перед самым закатом, я зашел навестить старика, которого нашел, по обыкновению, покуривавшим в любимом кресле. Я устроился возле него. В тот вечер Жером был в ударе; он долго рассуждал о прошлом, настоящем, будущем, обо всем на свете. А я не прерывал его, словно меня и не было, и желал только поучиться у этого человека, одновременно и глубокого, и значительного,

и необыкновенного. Он исследовал и небо и землю, полный восхищения как поэт, полный знаний как ученый; взял скрипку и подыграл на ней собственному исполнению старинных *liederen* доброй старой Фландрии, которые спел голосом, звучащим еще мужественно и сильно; потом сыграл мне так, как умел, Гайдна и Бетховена... Ах! Что за удовольствие было слушать его! Но особенно красив становился Жером, напевая пылкие военные марши или вспоминая преданья дней давно прошедших, когда Дон Жуан разбрасывал направо-налево любовные записки, а Моцарт тихонечко, под сурдинку напевал свои арии.

Потом он заговорил со мной о великих людях, которыми восторгался.

— Да что там! — воскликнул я. — Тут весь секрет в связи со сверхъестественным, ибо обладать подобной сверхчеловеческой силой духа все равно что быть Богом; но кому же обязаны они своим величием?

Жером не ответил, без сомнения погруженный в поиски ответа на мой вопрос, и, превращая, по обыкновению, свои мысли в живых существ, а поиски истины — в увлекательное зрелище, подошел к двери и, открыв ее: «Войди», — сказал он кому-то, кого я совершенно не заметил. Потом, как будто подводя кого-то за руку, он приблизился ко мне, спрашивая: «Не правда ли, она прекрас-

на? Взгляните на эти белокурые волосы, этот вечно задумчивый лобик, серьезные складки возле губ, на эти большие глаза, мечтательные и подернутые туманом. На той лире, что у нее в руках, порваны все струны, остались только две — струна сожаления и струна неясной надежды, так что уж она-то знает, что значит быть во всем разочарованной. Она не от мира сего, ибо слишком верует в мир иной».

Жером продолжал. «Ты приходишь точно в свой час, — молвил он невидимому призраку, — солнце зашло, засверкала первая звезда, девушки возвращаются с полей, напевая твои любимые песни, такие нежные и жалостные. Что ж! Спой и ты». Несколько мгновений он слушал, потом тихие слезы полились из глаз его; он шептал: «Я вижу, как распинают на кресте первого мученика любви; я вижу, как смерть вьется над миром и уничтожает его. Повсюду царит скорбь. Громки стенания добрых, ибо злые попирают их грудь ногами». Он все еще плакал. «Где же, — вопрошал он, — те лучшие миры, где те мечты, на каких взросло наше детство? Где ангелы, о которых говорила мне матушка? Все обман и разочарование. Все ушло, что так любил я в прошедшие годы. Бедный старик! Вскоре и я буду лежать на кладбище».

И вдруг, вспомнив, как увлекали его мысли об искусстве, «Плачь, — велел он призра-

ку, — плачь: если хоть одна из слез твоих упадет на страницу поэта, на полотно живописца или мрамор ваятеля — она превращается в бриллиант».

Сомневаться не приходилось — ту, к которой он обращался, звали Меланхолией.

Но с каким же изумлением вдруг увидел я, как он, всплыв, набросился на призрака с кулаками и вытолкал его за дверь, приговаривая: «Уходи прочь! Только и умеешь, что навевать печальное безделье!»

С минуту постояв у приотворенных дверей, он наконец запер их на засов и, вернувшись, безмолвно и подавленно сел рядом со мною. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Но долго размышлять мне не пришлось, ибо он опять опрометью вскочил с сияющим лицом и, воскликнув: «А, идут!» — снял со стены скрипку, выскочил на улицу и встал прямо посреди дороги, призывно махая руками, словно приглашая кого-то зайти в дом. Потом, наигрывая веселую мелодию, вернулся, с улыбкой поглядывая то налево, то направо и выгнув руки полукругом — так, словно друзья поддерживали его под оба локтя.

Он сходил в погреб за вином, наполнил четыре стакана — первый себе, второй мне, а еще два — невидимым мне гостям. «В добрый час, — сказал он, обращаясь ко мне, — вот прекрасные товарищи. Этот невысокий человечек, как

видите, одет небогато, но взгляните только, как лукаво посмеиваются под очками глаза этого простолюдина, — он мой старый друг. Никто не умеет видеть яснее и лучше различить ложь от правды. Он видит людей такими, какие они есть, и сорвет любую маску. Ему всегда почет в жилище доброго человека; он пивал с Рабле, певал с Якобом Кацем, водил пером Мольера и кистью Рембрандта. Он все подмечает, из всего делает выводы и умеет дождаться, когда к нему наконец обратятся за советом. Сколько людей из-за этого боятся его и охотно бы когда-нибудь повесили или сожгли на костре. Но он неуязвим для уколов и ран, не страшится ни воды, ни огня, ни железа, ни яда. А вот его шустрая подружка, такая пухленькая и свеженькая, что я сейчас расцелую ее в обе розовые щечки, — именно так он и сделал, — это спутница ветреная, немного легкомысленная, и частенько она бросает вас, стоит вам только постареть. Но уж коль скоро явилась, грешно бросать ей упреки. Простаков она не любит, а всегда норовит туда, где танцы и игристое вино, где юность и молодая любовь. Там она запевала».

Сомневаться не приходилось и тут — Жером представил мне Здравый Смысл и Радость Жизни.

«Дорогу! — вскричал он вдруг. — Дорогу Безумной Музе, чье пестрое платье сверкает ми-

риадами оттенков, которая умеет в один и тот же миг и смеяться и плакать, дорогу ее кортежу из ангелов и демонов, вампиров и ламий, сильфов\* и гномов. Неукротимая, она бежит и воспаряет, скача между небом и землею, взлетая к звездам из преисподней. Влюбленных в нее тысячи, а вот счастливых любовников у нее мало, зато среди них — Брейгель, Ян Люйкен\*\*, Калло, Гофман. Вот их любила она безумно и сделала великими. С Гёте прижила она то прекрасное дитя, что называется Фаустом, а крестным отцом и крестной матерью дитяти были Разум и Ученость. Дорогу Безумной Музе, дорогу Фантазии!»

После этого Жером, взяв меня за руку, подвел к открытому окну и показал на деревню; почти наступила ночь; по черным силуэтам деревьев словно бы скользили красноватые отблески — последние отражения солнечных лучей; в ярко-бирюзовом небе мерцала звезда. «Природа, — сказал мне Жером, — вот настольная

---

\* Сильфы — бесплотные светлые духи; ламии — страшные женщины-вампиры, высасывающие кровь у мужчин, часто с женским телом и змеиной головой.

\*\* Ян Люйкен (1649—1712) — голландский художник и гравёр, фигура хотя и локальная, но для нидерландского Возрождения весьма крупная. Находился под влиянием идей Якоба Бёме, был склонен к мистике.

книга поэта, вот что одно только и должен он любить и понимать».

Потом добавил, повернувшись к призракам:

«Примите к себе и бледную Меланхолию, она сестра ваша и ровня вам; тот, кого вы полюбите, станет Гением, если... — и тут, прервав сам себя, показал мне пальцем на дыру, проточенную в крепком дубовом столе червем, — если научится слушать вас, будет терпелив, как тот маленький червячок, проложивший себе путь в этом столе, если полюбит вас такой же преданной любовью, какой этот червь любит дерево, если будет преодолевать все препятствия так же, как этот червь шаг за шагом продвигался по каждой крохотной частице этого куска дуба. Тогда мир возложит на главу его корону почетнее, чем та, что носят короли, корону Гения — осиянного славой первооткрывателя. Понимаете вы?» — «Да, мэтр, понимаю».



## МАСКИ

### I

В карнавальную ночь на Масленицу, в самую ненастную погоду, как раз в разгар марта, этого своенравного месяца, столь изобильного на дожди, град, слякоть и другие прелести такого же свойства, был устроен праздник в «Доме без фонаря», что расположен во Влергате\* и стоит на самой вершине того острого угла, который сводит воедино две тропинки, обсаженные чахлыми деревьями; собрались там отнюдь никакие не привидения, а добрый старик хозяин, его жена, две их дочери, крестьяне, артисты, поэты, простодушие и коварство, наивность и лукавство, разум и все, что составляет ему полную противоположность; Бог и дьявол, добро и зло, как повсюду.

Некоторые гости явственно выделялись среди остальных, как-то: молодой промышленник, жаждущий богатства; бледный и ане-

---

\* *Влергат* — маленький городок в Брабанте.

мичный художник, ипохондрик и флегматик; молодой ученый-молчун, посвятивший себя церкви и все время одиноко ютившийся в углах; наконец, офицер, обладатель таких остро отточенных манер, что они походили на клинок, который может нанести рану, даже еще не будучи вынут из ножен. И ученого и офицера недолюбливали — одного за высокомерие, другого — за деланный смех.

Компанию, и без того, по обыкновению, шумливую, оживляла еще и нескончаемая суматоха вокруг делового человека, буяна и весельчака, очаровательного сорви-головы с душой доброй, однако по-своему полной секретов, — то есть мэтра Иова, походившего на тот флюгер, который всегда поворачивается лишь в одну сторону — в ту, откуда дует ветер с золотых гор, в те края, где, размножаясь путем одного только к ним прикосновения, произрастают разнообразные наполеондоры, вильгельмины, фредерихсы и гиней.

Мэтр Иов служил скромным коммивояжером во всех отраслях торговли; у него был уже и свой эскорт: один мальчишка на побегушках, один помощник, еще самый крайний из биржевых зайцев, и юный уроженец Намюра, готовый или, точнее, отнюдь не готовый сдать предстоящий ему экзамен на звание кандидата философии, что позволило бы ему стать потом доктором права.

## II

Итак, в ночь карнавала на Масленицу, о чем мы уже рассказали, большая зала гостиной «Дома без фонаря» была украшена благоухающими экзотическими цветами, ветвями остролиста, кипарисов, елок, вереска и тоненькими кустиками, сплетенными в ковер и висевшими наподобие гирлянд. На стенах были развешаны большие полотна, акварели, гуаши и фрески, каски рейтаров, знамена ремесленных цехов; а из прелестной глубокой зелени и цветов выступали алебарды, копья и палицы, так что все это невольно напоминало музей.

Вскороности в залу вступило множество масок, и среди них — офицер, наряженный хорватом, ученый в образе капуцина, живописец исторических полотен — в костюме патагонца, промышленник вырядился ломовым извозчиком, мэтр Иов — клоуном, его спутники — бродячими музыкантами, и вот наконец большой ящик с изображением часов прозвонил и меланхолично возвестил: ку-ку!

Крепко толкнув хорвата, едва не сбив капуцина и преспокойно пройдя по ногам мэтра Иова, ящик с часами как ни в чем не бывало направился в уголок, чтобы там дожидаться, пока позовут к ужину.

Когда, словно первые глашатаи, появились бараньи ножки с дымящимся картофелем, а

за ними арьергард соусников и полные блюда корнишонов, — казалось, тут уж пришел в движение весь часовой механизм, кукушка прокричала семь раз, часы прозвонили двадцать четыре часа, и ящик, раскачиваясь во все стороны, наконец поднялся к самому потолку, а под ним обнаружили длинные худые ноги в белых панталонах, короткое черное пальто, бледное лицо, высокий лоб и белобрысая шеволюра Хендрика Зантаса, художника-жанриста. Хендрик уселся за стол, разложил на коленях салфетку и, встряхнув облаком волос, сказал: «Я голоден». И принялся закусывать.

Подоспел десерт, а с ним и душистое бургундское, сопровождаемое радостными возгласами: бокалы зазвенели, песни загремели; все глаза весело заблестели; пианино заливалось восхитительными мелодиями; хорват, патагонец, клоун и капуцин обстреливали друг друга островами и насмешками, точно разящими пулями; винные пары, казалось, наполнили залу веселыми призраками, разурмянились самые бледные, оживились самые чопорные, испуганно бежала задумчивая меланхолия, а хромая печаль, припадая на обе ноги, уковывляла на костылях.

Хендрик наелся от пуза, выпил за четвертых, веселился за десятерых, плясал на столе и свалился с него. Тут, сообразив, что его час вот-вот пробьет — то есть пора и честь знать, — он снова влез в картонную машину, возвестил приход

утра, пробив восемь раз, крикнул «Ку-ку!» — и равнодушно вышел вон.

### III

Бедный юноша не привык выпивать столько вина за один вечер; к тому же стоило ему только выйти за порог, как его едва не сдуло ветром. Он хотел постоять, но его занесло в сторону; хотел было пойти прямо, а ноги сами взяли влево. Изумленный, он не мог понять, как ему сейчас поступить? Вернуться в «Дом без фонаря» или продолжать идти вперед? Он храбро выбрал второе, но чем дальше уходил, тем скорей и чаще его ноги сами делали предлинные крюки в разные стороны. Он обругал себя пьянчугой, винным бурдюком, пивным бочонком, но идти прямо все-таки не мог.

Свернув с большой дороги на тропинку, он разглядел вдали сквозь дымку плывущего тумана очертания одного из газовых фонарей Нижнего Икселя. Растроганный этим до глубины души, он с любовью смотрел на его далекий огонек, сиявший как звезда. Мореход, страдавший от пьяной качки, вдруг узрел маяк; но радоваться было ему рановато, ибо он очень скоро заметил, что маяк вел себя в точности как он сам, передвигаясь по небу такими же зигзагами, какими он шел по дороге. Огонек перебегал с севера на юг, от земли до самых туч, скатывал-

ся с крыш, прыгал по мостовой, скользил по деревьям, кровлям, стенам и даже мелькал под ногами Хендрика с невероятной, сумасшедшей, устрашающей быстротой. Утомительное все-таки нововведение эти газовые фонари, подумал Хендрик про себя.

Он застыл на месте, маяк тоже, но только для того, чтобы тут же начертить по черному небу огненными буквами три слова: «Gu zyt zat!» — эка ведь напился. Очень может быть, сказал Хендрик, полагаю даже, что хорошо сделаю, если где-нибудь присяду. И он, стараясь держаться как можно прямее, направился к маленькому придорожному домику, приподнимая свой картонный ящик до пояса, потом рухнул, вытянул ноги, проделал в картоне дырку, чтобы легче дышалось, просунул в нее голову и увидел...

#### IV

Осмотрев место, в котором он очутился, Хендрик увидел восхитительный пейзаж, залитый ярким дневным светом. Перед ним расстились поля, красивый замерзший пруд, обсаженный прекрасными деревьями; совсем вдалеке были явственно различимы вершины деревьев леса Суань и леса де ля Камбр. В это мгновение налетел сильный ветер, предвестник оттепели, и оба леса, разбуженные им,

глухо заворчали и закачали ветвями, на которых стеклянными плодами висел иней.

Мозг Хендрика наполняли все густевшие алкогольные пары, он закрыл глаза и увидел... как оба леса придвинулись совсем близко, встав по обе стороны пруда, лед с треском раскололся и исчез, уступив место необъятной долине, уходившей далеко вглубь; вспучились камни, из которых сложена была дорога, и она, словно кратер вулкана, извергла престранные вещи — корни, веревки, змей, которые ползали, копошились, свивались в корчах, завязывались узлами, и вот в конце концов получился канат, толстенный, как десять бечевок, который вдруг натянулся над долиной сам собою.

Что за чудо-канат, как он соблазнительно напрягся! И как было бы заманчиво для знаменитого своим мастерством канатоходца исполнить прыжки на таком необыкновенном канате перед столь многочисленной публикой. Ибо многоликая толпа собралась в глубокой низине, уже почти казавшейся аллегорическим изображением незавидного удела большинства из роду-племени человеческого, всех этих людишек, что хоть и стояли так низко сами, но не могли не восхищаться высоким искусством тех, кто плясал на канате, не могли не аплодировать чудесам ловкости, которой так недоставало в жизни им самим.

Затем Хендрик окинул взглядом всю долину, и среди бескрайних равнин, в веселых деревеньках, различил он широкоплечих кузнецов, со всей силы бьющих молотом по раскаленному железу, брызгавшему в ответ огненным дождем; простых сапожников, суетливых портняжек на корточках, заезжих торговцев, перекупщиков, огородников, художников, скульпторов, музыкантов, типографских наборщиков, и все были заняты делом или творили свое искусство. А между этими компаниями, работающими или спящими, сновали взад-вперед мальчуганы, с криками гоняясь друг за другом. От веселых мелодий флейт ноги гордых юношей и нежных девушек сами пускались в пляс; повсюду взрывы смеха соседствовали с песнями любви, чувственные признания с рокотом труда и нежными звуками поцелуев. Золотой луч света озарял эту счастливую толпу. Смелое упование и неколебимая вера — вот кто были те неведомые король с королевой, что правили этими детьми и простыми сердцами. «О юность, о сон золотой! — думал Хендрик. — О доброта! О цветущая юность, как вы прекрасны!»

## V

Потом ему пришлось испытать самые удивительные ощущения: сперва он понял, что его перенесли в тот единственный угол, из которого желающие исполнить танец на натяну-



том канате на глазах у изумленной публики должны выступить, чтобы начать это опасное развлечение. Стоять на страже пришлось ему по душе. После этого случилось нечто другое, удивившее его еще больше. Его тело, мышцы, кости растаяли. Он почувствовал себя легким, будто газовая ткань, бодрым, как блаженная душа в раю, летучим, словно пары фимиама, он искал самого себя и больше нигде не мог найти. Ничего себе, сказал он, да я превратился в духа! Все-таки он еще обнаружил у себя некое подобие телес, это были контуры его фигуры, наполненные странной субстанцией — красноватым, горячим и почти прозрачным туманом. Вместо прежнего лица у него появилось совсем другое: очень красивое, увенчанное высоким лбом, а в глазах его, скромно подумал Хендрик, сиял насмешливый и хитрый ум. Теперь он уверился в том, что его разум развился до бесконечности. Вот этого-то я и жаждал, сказал он себе, чтобы выведать самые потаенные мысли и прознать про самые глубокие тайны.

Размышляя таким манером, он вознесся в собственных глазах так, что выше некуда: сравнил себя с Сатаной, нашел, что он выше этого архангела, остался очень собою доволен и подумал, что Господь определил ему место у каната затем, чтобы испытать души тех, кто захочет на нем сплясать. Как странно, добавил он, обратив суровый взор на то, что происходило у ног

его, как странно, что в эту толпу добродушных простолюдинов затесались надменный хорват и ученый святоша, но вот ведь и они тоже с таким трудом карабкаются вверх по краям низины, вот их уже обогнал жадюга-ломовик, а сзади плетется мэтр Иов и за ним четверо его помощников, словно глупые суденышки, которые волокут на буксире. Возьмем они храбрость подойти сюда, уж я бы с ними поговорил как положено!

Сказав это, он с угрожающим видом подбоченился, подкрутил кончики усов, вдруг выросших у него из рыжеватой щетины, и раздул на полфута вперед обычно никому не заметные четыре волоска своей бороденки.

## VI

Скоро ломовик вскарабкался к самому канату и оказался рядом с Хендриком.

Несомненно, он видел его таким, каким тот воображал себя сам.

— Таинственный призрак, — произнес он, — кто бы ты ни был, ангел или демон, удостой меня ответом. Можно ли танцевать на этом канате?

Услышав, как его назвали призраком и демоном, Хендрик немедленно смягчился и суровым голосом ответил: «Ты можешь».

Тогда ломовик вступил на канат, и Хендрик смотрел, как он приплясывает на нем, стараясь изо всех сил, и слышал, как он говорил:

— Я честный, очень честный, я самый честный человек на свете.

И простакни внизу хлопали в ладоши.

— Как бы хорошо было стать ростовщиком, — бормотал он себе под нос, — стану давать деньги под еженедельный процент, с бедняками буду суров, любого без жалости раздавлю, зато уж ни у кого ничего не украду, никого никогда не убью, а радоваться буду так, чтобы никто не видел меня.

И простые люди, видя, как хорошо он пляшет, и не слыша ни слова из всего, что он говорил, хлопали в ладоши от всего сердца. Этому добряку золотые и серебряные монеты насыпали со всех сторон.

Он выделывал трудные коленца, и притом без балансира. А когда закончил такую удачную пляску — разжирел, выкатил брюшко, предстал богато одетым и, усевшись на канат, подсчитал свои деньги. Их набралось много.

А добрые люди хлопали в ладоши и махали ему снизу, крича: «Счастья тебе, честный человек!»

«О простодушные, — сказал про себя Хендрик, — какие же вы глупцы!»

## VII

Подошел капуцин, и Хендрик заговорил с ним.

— Чего ты желаешь? — спросил он.

— Ответ сперва сам, — сказал капуцин. — Кто ты? Откуда явился? Чего хочешь?

— Я дух твой; явился из ада и замышляю против тебя недоброе.

— Что значит этот канат?

— Ты знаешь не хуже меня, что, хорошо сплясав на нем, можно получить духовный сан, стать настоятелем собора, папским нунцием, а то и иметь право носить папскую тиару. Сможешь ты пристрелить лошадь, чтобы сесть на трон святого Петра? Нет. А убить человека, чтобы стать Святой Троицей и царить в небесах? Тоже нет. А между тем в человеке-то поменьше крови, чем в лошади. А умертвишь ли ты целый народ, чтобы не иссякли твои бенефиции? Не слышу ответа.

— Что за преступление совершил я, что должен выслушивать такие вопросы?

— Никакого, помимо того, что было совершено тобою в мыслях.

— Если бы ты мог читать книгу моей совести.

— Твоей совести! Она точно такая же, как у всех властолюбцев. Это темный чулан с дверью всегда приотворенной, чтобы все пороки могли, едва наступит ночь, входить туда в войлочных туфлях. Каждый из них убивает обличающую его добродетель, а потом все прикидываются спящими до того мгновения, когда хозяину придет в них нужда, вот тогда они скажут: мы здесь.

— Да простит тебе Господь эти оскорбительные речи.

— А Ему тут нечего делать. Я мрачный дух, призрак, явившийся из адских глубин; я есть преступление, я есть зло, и это я натянул здесь канат, чтобы заставить тебя сплясать на нем.

[Бог — там, внизу, Он живет среди детей и добрых простаков], а здесь зло: выбирай немедля, плясать тебе или падать вниз.

— Ты задумал обмануть меня, — ответил капуцин, — я буду плясать.

Прекрасным был этот танец, танец торжественный и тяжелый. В нем не хватало изящных антраша, зато все движения были сладчайшими, точно он отпускал грехи.

Глядя на этот боговдохновенный танец, добрые женщины прослезились в низине. А капуцин, танцуя, часто вставал на колени, и молился, и плакал, и бросал в толпу листочки с молитвами, и святые четки, и освященные хлебы, и брызгал святой водою. А снизу к нему возносились золотые монеты, которые вовсе не были освященными, и почести и славословия, какие оказывают людям не от мира сего, а он принимал все это во имя того несчастного страдальца, что умер за всех нас на кресте.

Хендрик смотрел, как он сперва переодевался из коричневого одеяния в черное, потом из

черного — в фиолетовое, а из фиолетового — в ярко-алое, а ярко-алое сменил на белое, и вот ему надевают на голову самые разные уборы, и последний из них выглядел на нем особенно нелепо.

И простые сердцем хлопали в ладоши, а он исподтишка посмеивался над ними, когда Хендрик снова повторил:

— О простодушные, какие же вы глупцы!

## VIII

— Ну, — сказал Хендрик, — вот наконец идет и этот надменный хорват; из каких краев ты прибыл? — только и спросил он.

— Из тех, над которыми мог бы властвовать.

— Кто призывает тебя?

— Белый человек.

— Почему же ты свернул с пути?

— Он слишком узок.

— Чего же надо тебе?

— Весь мир.

— А потом?

— Всего, что есть еще, кроме него.

— Ты счастлив?

— Я не стремлюсь быть счастливым.

— Ты когда-нибудь смеешься?

— Улыбаюсь уголками губ.

— Поешь песни?

— Никогда.

— Несчастный властолюбец! Так ты желаешь себе корону, не так ли?

— Это мое дело.

— Что думаешь ты о людях?

— Они стоят того, чтобы ими попользоваться.

— Ты готов причинить им множество бед, чтобы возвыситься самому?

— Постараюсь поменьше, но столько, сколько потребуется.

— Например, истребить сто тысяч, миллион?

— Я уже ответил тебе.

— Люди возненавидят тебя?

— Они будут меня боготворить.

— За что?

— За то, что я презираю их.

— Танцуй, ты будешь велик.

— Не стоило говорить мне то, в чем я уверен и сам.

И хорват танцевал, как и все остальные, но танец его был на редкость блистательным. Потом, видя, как горячо ему аплодируют, он сказал: «Как думаете, могу я стать вашим командиром? И не пора ли нам в самом деле отправиться на завоевание Луны?»

И множество глоток крикнуло снизу:

— Да, да, идем завоевывать Луну! Этого требует наша цивилизация, таково желание белого человека, так повелевает нам долг, идем завоевывать Луну!

И Хендрик смотрел, как они завоевывали Луну. Он видел, как на несчастной планете высадились мириады солдат. На этой планете тоже худо-бедно, как могли, жили люди, такие же, как мы; но всех их вырезали, как того требовали интересы цивилизации. И пролился на землю кровавый дождь.

Эта страшная мясорубка пошла на пользу лишь одному человеку, тому самому хорвату, которого Хендрик снова видел теперь стоящим на канате в самом великолепном костюме, о каком только можно мечтать. Он все еще выделялся величественные па среди господ своего круга. И разглагольствовал о прогрессе, о цивилизации, о благосостоянии и помощи беднякам и еще о множестве столь же трогательных и благородных вещей.

И простодушный люд аплодировал ему из низины; и те, кто сделал его властелином, говорили: глядите, какая огромная душа у него; восхищайтесь необыкновенным человеком, он убил больше двух миллионов ста тысяч лунатиков и уморил пятнадцать сотен тысяч наших детей. Ура в честь великого человека!

А хорват горячо приветствовал такой добрый народ, салютуя ему жестами, полными величия, прогресса и цивилизованности. И народ аплодировал ему, а он втайне потирал себе руки и говорил тихо-тихо:

— О простаки, какие же вы глупцы!



## IX

Но вот и еще клоуны, сказал себе Хендрик, это мэтр Иов и четверо его спутников. Подойди ближе, паяц, не будь трусливым, шут гороховый! Иди сюда, говорю я тебе. А вы, идущие следом, пообезьянничайте-ка за ним! Мерцайте отраженным светом, почтительно подражая вашему светилу! Одежды ваши позеленели и поистаскались, но достоинство ваше поистаскалось еще заметней.

— Господин посланник дьявола, — выступив вперед, заговорил мэтр Иов, — могу ли я смиренно умолять вас не обижать так жестоко этих чувствительных молодых людей. Смотрите, да они сейчас расплачутся. Успокойтесь, друзья мои, сей дух не имеет намерения оскорбить вас. Да знаете ли вы, кто перед вами? Нет. Глядя на эту царственную осанку, сверкающие очи, высокий лоб, лицезрея печать возвышенной меланхолии, что тенью омрачает сей прекрасный лик, — как можно не угадать, что перед нами самый горделивый, самый несчастный, самый печальный, самый красивый из всех ангелов, их славный повелитель, всемогущий Люцифер?

— Перестань, — перебил Хендрик, — хватит, бездельник, докучать мне лезтью.

— Монсеньор, ах, с каким удовольствием я слушал бы гармоничные звуки вашей речи,

если бы каждое слово тут же превращалось в монету по сто су.

— Заткнись и смотри: видишь, как эта троица скачет на канате?

— Да, монсеньор, да, о высочество.

— Следуй за ними, ублажай их, подольстись к ним; умеешь умамливать речами, так умамливай тех, кто будет тебе платить за это; умеешь плясать, так пляши для тех, кого боишься. Так ты и получишь свои орденские ленты, кресты и почести; и станешь жирным, и расползешься как масляное пятно. Ведь именно это и подсказывает тебе низкая твоя душонка, негодник?

— Да, монсеньор, я благодарю ваше высочество за добрые советы.

— Подойди же ко мне, и я одарю тебя тем самым, что ты будешь в изобилии получать всю жизнь твою.

Мэтр Иов повиновался, и Хендрик с размаху отвесил ему пинок под зад. Мэтр Иов церемонно поклонился, протянул руку и произнес:

— Это стоит двадцать франков, монсеньор.

## Х

Предчувствие Хендрика оправдалось; мэтр Иов прыгал по канату с кошачьей грацией, словно был сделан из гуттаперчи, как будто гибче его тела не было ничего в мире; его спутники по-

вторяли за ним все его антраша, но не могли достичь такой же, как у него, подвижности, ловкости и гибкости, благодаря которым мэтр Иов и оказался самым достойным из плясунов. Но все-таки можно было предвидеть, что настанет денек, когда и они достигнут высот необыкновенных. Устав без передышки выкидывать невероятные коленца, мэтр Иов снял с головы колпак и с подтанцовыванием и поклонами направился прямо к хорвату.

— Цезарь, — заговорил он, — Помпей, Саладин и Карл Великий по сравнению с вами — просто малые ребяташки. Кого убить для вас: белого человека? Миллион? Решимость моя огромна, как мир.

Он подошел к белому человеку и шепнул ему, показав на хорвата:

— Если этот тип мешает вам — есть способ возмутить против него всю пучину толпы. Я полностью в вашем распоряжении.

Потом он повернулся к миллиону и сказал ему:

— Когда вы захотите, властелин мой, я скажу, что этому миру не нужны ни этот белый человек, ни этот хорват, что только деньги и есть владыка всего и только в них и должно верить всем нам.

И так он переходил от одного к другому, вприпрыжку, приплясывая, и делая пируэты, и получая от всех троих подарки того само-

го рода, забористый образчик которого сам Хендрик отвесил ему первым.

И простой люд низин говорил о нем: до чего ж хорош, вот ведь скромненький, а как сметлив, как ловко всюду поспекает, не хватает с неба звезд, а ведь ох как сам непрост, умеет удерживать удачу за хвост, а промахнется — тоже не заплачет; потому как сердцу у него добряка, он принимает людей как они есть, и за то ему и хвала и честь, и чтоб преуспеть, годится любой способ, а если кому стыдно — стало быть, тот и не прав, ибо нет на свете большего безумца, чем одержимый гордыней. Слава такому храбрецу, славься ты, честный человек!!!

И долетали до него снизу аплодисменты и много золотых монет.

Тем временем четверо музыкантов в позеленевших и истаскавшихся платьях приплясывали по примеру своего предводителя и вертели головами, посматривая на него, как верные псы следят за хозяином, боясь что-нибудь сделать не так. Они умели танцевать и плясали хорошо. А мэтр Йов одаривал их, раздавая кому покрепче, кому побольнее, так что приходилось им частенько почесывать те места, где их особенно щедро одарили.

И кричали четверо музыкантов в позеленевших и истаскавшихся платьях:

— Спасибо, господин наш, это стоит двадцать су.

И он достаивал их платежом, и благодарственной хвалой ему служил визг их крикливых флейт.

А простые сердцем люди низин говорили: вот как надо ставить себя в жизни-то, надо идти за тем, кто возвышается, и делать как он: ведь и эти простые бедные музыканты займут видное положение, став от побоев только мудрей.

И им тоже бросали снизу мелкие монетки, а те принимали их с благодарностью и смирением.

И вдруг, стоило Хендрику лишь отвернуться, чтобы положить этому конец, как на канат запрыгнуло чудовищное множество плясунов, искусные танцоры и еще совсем школяры, потом бесчисленная толпа незваных попрыгунчиков, а за ними еще больше тех, кто норовил последовать их примеру, — ибо, видя, как из самых низин доросли уже до хорвата, белого человека и ломовика горы миллионов и миллионов золотых монет, они тоже бросились урвать свою долю. Хендрик был сброшен на землю, расплющен, истоптан бегущими ногами, как померанец в ступке, как виноград в давильне, раздавлен, как свежее яйцо под пятой Голиафа. Напрасно он пихался, крутился, уворачивался, вопил, что он сам дьявол и жестоко отомстит за это, — он видел перед собою одни только ноги, ноги с черными ступнями, миллионы и миллиарды ступней, хлеставших его

по щекам, топтавших его глаза, рвавших уши, ломавших ребра, дробивших кости и раздавивших на его ногах-страдалицах самые любимые мозоли. Все превратилось в ужасный кошмар. Он не умер лишь потому, что был духовно подготовлен к такому испытанию.

И вдруг тишина повисла над толпою, воцарилось безмолвие, миллионы и миллиарды ног внезапно остановились, Хендрик неуверенно встал на ноги, избитый, но живой, и тут было ему видение, какими Господь удостаивает лишь тех, кто уже покинул наш земной мир.

Три женщины небесной красоты воссияли в горних: высах в ореоле блистающих облаков. Первая была высокой, суровой и печальной, в одной руке она держала топор, в другой весы: и звалась она Справедливостью. Вторая была пышной и светловолосой, нежной и миловидной: кого ни коснется она подолом платья, всяк светлел душою: ее звали Доброта. Третья — нагая как Венера и столь же обольстительная, и гармоничные формы ее небесного тела озарялись изнутри пламенем нежной страсти, а плоть казалась сотканной из прозрачного золота. Она походила на сладчайший плод, коего вожделеют и самые старые зубы, а губы ее сверкали словно коралловая чаша, из которой хотелось выпить, даже заплатив за это жизнью. Все, кто был в долине, протянули к ней руки, все хотели обнять ее, овладеть ею: эта звалась Любовью.

Канат, такой длинный, что его конец уходил за горизонт, теперь был весь покрыт всевозможными плясунами.

С появлением трех женщин произошло вот что: сперва люди в долине перестали бросать вверх золотые и серебряные монеты, потом канат, сплетенный из десяти толстых бечевков, уже не казался таким прочным, как раньше, потом слабел, слабел и ветшал все заметней и заметней, пока наконец не порвался совершенно под ногами всех плясавших на нем.

И тогда раздался вопль, долгий, пронзительный, душераздирающий, вопль, от которого заледенела кровь в жилах у самой жизни. Это кричали низринувшиеся в пропасть, где с ними не случилось ничего плохого, кроме одного — все они попадали в толпу простых сердцем, а те сорвали с них маски, насмехаясь над ними и их честолюбием, их пляской, их тщеславием и особенно издеваясь над их падением.

Пока звучал этот крик, словно стеноло множество утопающих, Хендрику показалось, что его облакают в тяжелые, холодные, плотные и влажные одеяния.

— Вот те на! — сказал он. — Да что ж это? Я опять стал человеком! Увы, да! Вот и тело мое, и мое пальто, и эти бедные ноги, что до нитки вымокли под дождем, тоже мои.

Сверху кто-то стучал в его картонный футляр.

— Хендрик дома? — спрашивали знакомые голоса.

— Да здесь, господа, здесь, — меланхолично отозвался он, — только уберите домик с моей головы.

Так и поступили; Хендрик, освобожденный от чехла, остался сидеть, хлопая глазами и жмурясь от яркого фонаря, который держал ломовик. Фонарь полностью освещал хорвата, капущина и мэтра Иова; Хендрик зевнул в полную сласть и сказал:

— Господа! Я видел сон...

— Про нас? — осведомился ломовик.

— Точно так; тебя, к примеру, я видел пятидесятилетним мужиком, ты шел, волоча за собою подол очень толстой шубы, сшитой из шкур, содранных тобою с клиентов; у тебя, капущин, каждый раз, как тебе стоило только сказать не то, что ты на самом деле думал, слезала с языка кожа; ты, хорват, в наказание за гордыню стал подметалой улиц; что до тебя, мэтр Иов, то ты беспрестанно плавал меж двух морей да в обоих и утонул.



## СЬЕР ХЬЮГ

### I

В тот день в мавританском селении отказали в гостеприимстве пилигриму, и тут же к старейшинам племени спешно направились несколько воинов; потребовав объяснить, по какому праву был так осквернен закон пророка.

Тогда встал старый дервиш, увел их под своды шатра своего и рассказал такую историю:

— Уже засияли над землей те звезды, что Аллах подвесил на золотых цепях на первом небе, когда вдали от наших шатров повстречались девушка и воин.

Так говорил воин: «Зулейка, о возлюбленная соловья, ты красивее, чем цветы полей и гурии пророка. У меня есть сундуки, набитые золотым песком и алмазами; им позавидовал бы сам повелитель правоверных; у меня есть жемчуг, шелка и кашемиры; Зулейка, я вла-

дыка своего племени; тысячи рабов падают ниц предо мною, приходи под свод шатра моего».

Так говорил молодой Махмуд той, кого желало его сердце. Зулейка же отвечала совсем тихо и печально: «Ты богат, я бедна, так возьми же меня».

Махмуд отвязал своего скакуна, нежным словом утихомирил пыл его и вскоре, стремительный как самум, примчал девушку в свое селение.

В тот же день, еще прежде, утром, некий христианин коснулся одежды старейшины и попросил у него хлеба и соли. Теперь он курил наргиле у входа в шатер приютившего его старого Ахмеда; и был он красив.

Женщины этого племени не носили чадры; христианин взглянул на Зулейку, и глаза его вспыхнули, как у льва.

Ревнивый Махмуд в гневе обернулся к нему, погрозив ему кулаком, и по губам христианина пробежала презрительная улыбка.

Еще долго сидел он недвижно, куря наргиле, у входа в шатер своего хозяина; вечером какой-то мальчуган слышал, как он пел на своем языке песню, и в ней все повторялось: «Зулейка!»

В селении поговаривали, что Бог лишил разума того, кто просил у Ахмеда гостеприимства.

Аллах! Один ты велик! Христианин не был безумцем, он возжаждал жены Махмуда, зажглась над нашим селением звезда Эссенская\*.

Астарта вдохнула огонь похоти в его сердце, и мыслями его овладел дух похищения.

Прекрасна была Зулейка; плечи ее отливали золотом, грудь словно мрамор, а ноги легки, как у арабской плясуньи. Глаза ее большие, чарующие, осененные тенью ресниц; губы точно роза из сада пророка, а волосы могли бы скрыть все ее тело под своим черным покрывалом.

Прекрасна была Зулейка, и христианин хотел Зулейку.

Однажды Махмуд уехал, чтобы продать золотой песок, и наказал брату своему следить за возлюбленной.

Ах! Зачем тебе уезжать, о самый доблест-

---

\* Темное место, допускающее двойное толкование. 1) Возможно, речь идет о ессенианах — иудейской секте, о которой де Костер мог прочесть в «Иудейской войне» Иосифа Флавия, не вдаваясь в исторические тонкости, а просто поэтически пышно сказав читателю, что Зулейка родом еврейка. 2) *Эссен* — крупный торговый город в Бельгии, и тогда дервиш по-восточному красно-речиво говорит, что над племенем зажглась звезда, покровительствующая чужеземцу в его планах похищения красавицы.

ный из воинов? Даже верный пес твой трижды завыл, когда ты оседлал кобылицу, черную как ночь!

Зачем уезжать, Махмуд?

Даже твоя кобылица не пожелала услышать самых нежных понуканий ног твоих, земля не улетела стремглав из-под ее копыт, и тебе пришлось гневно прикрикнуть на нее, чтобы она поскакала в пустыню. Зачем уезжать, Махмуд?

Мы все говорили тебе: «Останься с нами». Зулейка не произнесла ни слова. Зачем уезжать, Махмуд?

Христианин еще сидел у входа в шатер своего хозяина. В тот день он облачился в белый шелковый кафтан, расшитый золотом, а на голове его был тюрбан из самого тонкого кашемира. Увидав Зулейку, он улыбнулся, и она покраснела.

Он был красив, чужеземец. Зачем уезжать?

Но увы! ты уехал. Твой брат был слишком юн, чтобы следить за шатром твоей жены.

На следующий день твоего пса нашли мертвым у входа в твой шатер, и в тот час, когда голос муэдзина созывает нас, крича: «Нет Бога, кроме Аллаха высокого, великого, и Магомет пророк его!» — христианин подошел к шатру своего хозяина и сел перед ним, и сияло от счастья лицо у него.

Ты вернулся, и Зулейка встретила тебя без улыбки.

Вечером, когда все заснули, — продолжал дервиш, — в тот час, когда в воздухе проносятся джинны, Зулейка попросилась выйти освежиться морским ветерком; Махмуд хотел того же и вышел вместе с женой и братом.

Сова с перламутровыми глазами задела крылом его тюрбан. Недобрый знак!

Воин не дрогнул.

Иногда за их спиной слышались легкие и быстрые шаги; Махмуд с братом шли и шли, не замечая, что Зулейка осталась позади.

Вот Махмуд обернулся; ее сжимал в объятиях гость Ахмеда. Чужеземец выхватил шпагу; Махмуд с братом бросились на него.

Чужеземец сразил Махмуда и ранил его брата.

Больше в селении ничего не слышали о Зулейке. Она бежала с чужеземцем.

И вы еще спрашиваете, — продолжал дервиш, — и вы еще спрашиваете, отчего мы не хотим согреть змей на груди и кормить стервятников, пожирающих наших детей?

Побледнев, воины погладили свои кривые алебарды, которые называют ятаганам.

Вдруг кто-то встал; он был молод и прекрасен. «Настанет день, — сказал он, — и кровь отплатит за кровь, женщина за женщину, рана за рану».

Это был Махмуд, который вовсе не погиб, ибо среди его сокровищ было чудо драгоцен-

нее всех чудес, бальзам из корня Иессеева\*, он-то и залечил раны на его груди.

## II

Тем временем на корабле, шедшем во Фландрию из Дамме с грузом ладана, мирры и прочих ароматических пряностей, плыл похититель с Зулейкой, возлюбленной соловья.

Похитителя этого звали съер Симон Хьюг, и был он знатный горожанин гордого Брюсселя, самого главного города во всем веселом Брабанте.

Был он храбр, легконог, быстроглаз, и исполнилось ему, брабантскому горожанину, от роду двадцать восемь лет.

---

\* *Корень Иессеев*, или древо Иессея, — очень распространенный в западном христианстве образ генеалогического древа Иисуса Христа. Мастера нидерландского и французского Возрождения часто изображали его в виде раскидистого дерева, у корней которого — Иессей, отец царя Давида, на ветвях возлежат ветхозаветные пророки, а на вершине Мадонна с младенцем Иисусом. Трудно понять, как из генеалогического древа можно сделать целебную мазь; в любом случае сказочно-мифологический образ, восходящий к наивным чудесам раннехристианских легенд, носит у де Костера конфессиональный смысл, что становится очевидным в самом конце новеллы.

Молодые женщины и юные девушки всегда с охотой поглядывали на сьера Хьюга, до того по душе им приходились его рыжеватые волосы и борода, его ясные глаза, живые и карие, его лицо, красноватое от прилива здоровой крови и потемневшее от загара; но никого из них, втайне мечтавших об этом, сьер Хьюг не выбрал себе в жены. Вот почему пришлось ему искать так далеко, чтобы наконец забрать жену у несчастного Махмуда.

Море было милостиво к путешественникам: они приплыли в Брюссель в первую субботу мая и поселились в Каменной крепости сьера Хьюга, красивом, хорошо укрепленном замке. И от налетевшего порыва ветра изваяния стражей с пиками, служившие флюгерами на башнях Каменной крепости, повернулись к ним лицом, словно поздравляя с добрым прибытием домой.

Вернувшись в Каменную крепость, сьер Хьюг увидел, что сестра охвачена скорбью, а матушка отправилась туда, откуда не возвращаются. Ибо отошла она в края блаженных душ.

Как настоящая женщина, любила мать сына своего: ее любви он обязан был своей добротой, крепости ее сердца — храбростью, а сила ее духа вдохнула разум в него.

И вот, увидев это гнездо только недавно покинутым тою, что столько раз пела ему колыбельную, качая его в люльке, сьер Хьюг по-

чувствовал в сердце такой ледяной холод, что едва не умер, и такую великую тоску, что сделался как безумный и целыми днями блуждал по дому, плача, причитая, целуя комоды, которых касались материнские руки, и отыскивая на полу следы умершей. Он совсем отказывался выходить из дому и облачился в одежды скорби — самые черные, какие только можно себе вообразить. Но скорбь, поселившаяся в его сердце, была вовсе невообразимой. И он несомненно умер бы, не будь рядом его молодой жены Зулейки, окрещенной и звавшейся теперь Иоханной, и его юной сестры Росье, которые любили и поддерживали его.

Зулейка, приняв христианство, осознала, что надо стараться блюсти честное имя и достоинство мужа своего, но счастья не было в ее душе, ибо она не могла позабыть несчастного Махмуда, которого считала погибшим из-за нее, и долгими днями и ночами думала о нем с жалостью и печалью.

Не было покоя и в душе съера Хьюга, ибо пролитая кровь требует другой крови и вызывает к Господу об отмщении.

Росье, которая была кроткой как голубка, напротив, прекрасно спала, часто смеялась и сны видела сладкие. В них ее навещала мать, благословляя дочку, и коронуя цветочным венком, и часто уводя ее за собою в бескрайние сады, где все имело свою форму и цвет, но



было совершенно бесплотным. А уж как Росье нравилось ступать по облакам и вдыхать туманную дымку. Продвигаясь сквозь них, мать учила ее, как подарить побольше радости и счастья сьеру Хьюгу и Йоханне.

Пятнадцать месяцев прошло с тех пор, как сьер Хьюг ступил на землю Брабанта. Росье упорно трудилась изо дня в день, но часто бывала мечтательной и задумчивой, как все девушки ее возраста, о которых обычно говорят, что в них соседствуют желание, любовь, огонь молодости и томление девичества. Много знатных и богатых господ увлекались ее красотой и желали — одни соблазнить ее, другие просить ее руки.

Соблазнительям она быстро советовала поворачивать оглобли, вместе с их распутством, так что они не осмеливались даже приблизиться к окнам ее комнаты. Что до воздыхателей-женихов, им она отказывала с чистым сердцем, будь то приближенные бургомистра, сам сельский староста или много-много адвокатов, а это все люди добропорядочные и благонравные.

### III

Как-то в воскресенье Росье отправилась к мессе, взяв с собою одного только старого слугу по имени Хрипун Клаас, который сопровождал ее, чтобы в случае чего защитить, хотя на самом деле на его защиту скорей уж пришлось

бы вставать ей самой, так плохо он держался на ногах, так сильно кашлял и хрипел, таким был дряхлым и согбенным от старости.

Вернулась она из церкви возбужденная и трепещущая, а когда сьер Хьюг спросил, не от холода ли ее так трясет, ответила ему, что ей жарко, будто от лучей летнего солнца. Пристально приглядевшись к ней, Иоханна поняла, что и правда вовсе не от холода девушка так рассеянна и встревожена и не потому с таким страхом вздрагивает, оборачиваясь, точно ожидая увидеть кого-то позади.

Когда сьер Хьюг вышел по делам, Иоханна спросила у Росье, отчего она сегодня не так весела и беспечна, как всегда.

— Не смейся надо мной, сестра моя, — отвечала Росье, — я расскажу тебе, какое случилось со мной очень необычное и совсем простое приключение. Заходя в собор с Хрипуном, столкнулась я лицом к лицу с молодым человеком такой красоты, какой никогда прежде ни у кого не видала. Хоть и был он одет на манер наших горожан — в длинное платье, а на груди висела блестящая золотая цепь, — никогда не видела я ни в герцогстве Брабантском, ни в графстве Фландрском, ни в землях, которыми управляют антверпенские маркизы, прекрасных краях, куда брат Симон часто брал меня с собой, — о сестра моя Иоханна, — и с этими словами она бросилась ей на шею, — таких черных глаз, как

у него, такого пронизывающего взгляда, мне даже показалось, что они впились в меня, разорвали грудь и заставили сердце стремительно забиться. Хрипун торопил меня: пойдём, молодая хозяйка, пойдём же в собор, вот и колокол сейчас перестанет звонить. А я все стояла перед этим молодым человеком такой красоты и чувствовала, что чего хочет он, того должна захотеть и я, и если бы приказал он мне отправиться с ним далеко-далеко, так далеко, — и я бы послушалась его, как самого монсеньора герцога. Он что-то сказал мне взглядом, как будто ответив, и я не знаю, что меня так взволновало и что я сама хотела ему сказать.

— Сестричка, — сказала Иоханна, — да ты от него уже без ума.

Росье согласно кивнула.

— Он уступил мне дорогу в церковь, — продолжала она свой рассказ, — и последовал за мной. Вошел, и тут толпа понесла его, и он остановился прямо передо мной, а меня бросало то в жар, то в холод, и я не знала, чего хочу больше — убежать или кинуться ему на шею. Одежды его благоухали амброй и ладаном, и мне показалось, что и дыхание его такое же благовонное. Он отошел туда, где были мужчины, я же спряталась под нефом, где собрались женщины, как это и положено. Я ни о чем не думала, только все смотрела на него, и мне стало страшно, ибо он казался разгневанным, словно Сатана в Божием

храме, и бросал на священника, на алтарь, даже на статуи госпожи Святой Девы и господ всех святых взгляды, полные ярости. Но при этом стоило только его взглядам упасть на меня, как они становились такими нежными, так мягко гладили мое тело, как, бывало, твоя рука, когда ты даришь мне ласку. Он был такой красивый и гордый, что мне в душу закрались дурные мысли, и я подумала, уж не дьявол ли это. Но я не чувствовала, несмотря на эту мысль, что боюсь его тем страхом Божьим, который приличествует нам, христианкам. Ибо я сказала себе, сильно чувствуя себя в том виновной, что, доведись мне увидеть его сгорающим в геенне огненной или жестоко мучимым в преисподней, я захотела бы быть рядом с ним и так слезно молила бы за него Господа Иисуса, что он выпустил бы его оттуда, будь это хоть сам Люцифер.

Рассказав все это, Росье перекрестилась и опустила голову; она улыбалась так изумленно, как будто только что удостоилась счастья созерцать райское видение.

— Пташка-щебетунья, — откликнулась Иоханна, — вот съест тебя кот однажды утром; надо, малышка моя, помолиться.

— Кот совсем не хочет съесть меня, — возразила Росье.

— Ах ты, хитрюшка, — парировала Иоханна, — да ведь ты поняла, чего он от тебя захотел?

— Нет, но с охотой думала бы, что он желал бы стать моим господином и хозяином моего счастья.

Сказав так, Росье страстно обняла Иоханну и стала целовать ей лицо и руки так крепко, как никогда прежде не целовала, до того была она переполнена проникшим в нее очарованием любви.

Потом она ушла, ища уединения, как все те, кого ранила любовь.

#### IV

Тем временем вернулся домой и съер Хьюг и застал Иоханну, жену свою сидящей у окна и отсутствующим взглядом рассматривающей троих смешных человечков, высеченных из камня на фасаде Дома бочаров. Эти человечки заклепывали бочарные доски. Но совсем не на них смотрела Иоханна, а думала о влюбленной Росье.

С едва слышной молитвой обращалась она к своей святой покровительнице Иоанне, прося ее сделать так, чтобы тот, кто овладел сердцем Росье, оказался столь же добр, сколь и красив, и так же богат, как добр.

Сьер Хьюг отпер дверь, но она не услышала; подошел к ней совсем близко, но она даже не пошевелилась, потому что все еще смотрела на трех человечков, у которых в руках были

спатель и долото. И она даже вздрогнула от испуга, когда сьер Хьюг положил руку ей на плечо и спросил:

— Жена, что с тобой?

И в ее взоре было такое смятение, что он сказал:

— Да уж не тень ли это моей душеньки?

— Ах, — отозвалась она со смехом, радуясь, что снова видит его, и сжимая его руки в своих, — видишь, эти руки принадлежат не тени, и губы верной жены, которые коснулись сейчас твоей рыжей бороды, тоже вовсе не губы тени; ну-ка, откроем твою кошелек, вот эти два мешочка с золотом, чтобы завтра заплатить за ячменное пиво, тоже берет у тебя не тень, и уж вовсе не тень завтра выпьет с тобой пивка, муженек.

— Знаю, да, — отозвался он, — но все это не проясняет, отчего это ты вдруг стала такой задумчивой?

— Ни от чего, — ответила она.

— Ха, — сказал он, — Иоханна, лгать — грех.

Иоханна улынулась: зная, что женщины научились обманывать с первого дня, как появились на этом свете, она подумала, что, выдергивая по волоску за каждую ложь, легко добиться того, чтобы в мире не осталось иных женщин, кроме лысых, а это было бы ах как печально.

— Что ты смеешься? — спросил сьер Хьюг.

— Оттого, что мне приятно видеть тебя. Почему, злой ты ревнивец, я так часто вижу нахмуренными твои рыжие брови? Разве из-за меня ты можешь быть не в духе? Зачем так любишь ты мучить себя без причины? Так вот я и хочу снять с тебя эту порчу, но не слезными жалобами или хмурым видом, а веселым смехом, чтобы и ты посмеялся со мною. Вот потому-то я и смеюсь сейчас, муженек.

— Милочка моя, — сказал сьер Хьюг, — слишком часто кажется мне, что ты жалеешь о своей жаркой стране, жгучих песках и желтых рожах фанатиков пророка.

— Не надо говорить про них с такой злостью, — возразила Иоханна, — но ты должен верить, что сердце мое не привязано ни к чему, что я там оставила. Я счастлива быть там, где ты, я рада всюду идти следом за тобой, и, если я запечалюсь, а ты посмотришь на меня твоими живыми глазами и поговоришь со мной, на меня словно подует теплый весенний ветерок, пробуждающий к жизни цветы, скрытые под снегами.

Услышав это, сьер Хьюг обрадовался.

— Не хочу их больше видеть, эти африканские пески, — продолжила Иоханна, — потому что люблю ваше прекрасное герцогство Брабантское, этот тучный край с тенистыми деревьями и добрым народом, что целыми дня-

ми работает как проклятый, а вечерами и даже ночами напролет гуляет и горланит пьянственные песни..

— Да, — сказал сьер Хьюг, — но все-таки это вовсе не проясняет, почему я застал тебя здесь в такой задумчивости...

— Да разве я не объяснила тебе? — откликнулась Иоханна, сделав удивленное лицо и твердо решив не пересказывать сьеру Хьюгу признаний его сестры. Ведь между женщинами, по всей видимости, по велению природы существует что-то вроде пакта, по которому они объединяются, чтобы защищаться от всех мужчин и особенно утаивать от них все, что нужно и что не нужно, и все это из-за природной склонности к уловкам, уверткам и тайным интрижкам да еще из-за страха, для которого, по правде сказать, повод-то у них есть, что, проявив женскую мягкость, нежную заботу, тонкость чувств и толику лукавства, они вдруг нарвутся на человека резкого, грубого, недалекого; а он возьми да и вытопчи все вокруг себя, точно полк солдат клеверное поле.

Сьер Хьюг настаивал, требуя все-таки сказать ему, что же повергло ее в такую задумчивость.

Она снова улыбнулась.

— Я думала, — сказала она, — думала я, что вот пришло воскресенье, день праздный, и нечем мне заняться, а руки-то чешутся, а



душа-то вышла на волю, и хотела бы я знать, скоро ли эти три пригожих человечка, высеченные тут из камня, закончат бить большими молотами по этим беднягам-обручам, а то ведь обручи от дождя могут и заржаветь и тогда не сгодятся на бочки.

Говоря так, она насмешливо поглядывала на сьера Хьюга, словно призывая улыбнуться и его; что он и сделал без промедления.

Он попросил ее встать, сел в кресло сам, посадил Иоханну к себе на колени, и они вместе стали смотреть на улицу и трех каменных человечков.

Так у растворенного окошка и сидели они вдвоем, пока горница понемножку наполнилась солнечным теплом; как вдруг услышали звон маленького колокольчика, которым размахивал церковный служка, бежавший перед священником, направлявшимся соборовать умирающего. Они пали на колени и помолились за душу того, кто готовился отойти в мир иной. Потом звон колокольчика, все удаляясь, стих совсем, и они поднялись и снова сели у окна, но уже не такие беспечные, как прежде.

На улице громко судачили две кумушки, охая, кряхтя и гремя костылями.

— Увы и ах! — говорила одна. — Как не пожалеть такого кавалера, всегда был любезный, нарядный, этакий молодец!

— Да уж, — отвечала другая, — бедный Ян Самманс, а ведь убил-то его дружок его жены.

— Двумя ударами *кнейфа\**, в грудь и в живот. В своей крови плавает, кума, вот бедолага-то. А убийце удалось сбежать, и за границей его не достать, потому что, сказывают, он у римского императора в любимчиках.

— Как! Что ж, и наш суд ничего с ним не сделает?

— Да уж он далеко отсюда, если еще не добежал! Но Суд Божий! Святая Мадонна, — заголосили обе, — обрати на убийцу гнев твой, и пусть, если доведется ему избежать петли палача, обретет он на своей дороге шипы, что изранят ему ноги, и злых гадюк с ядовитым жалом, да поразит его молния... Ибо, — удаляясь, краснобайствовали они, — если Господь Бог, Отец небесный, не будет карать убийц, они так и повадятся убивать и, когда не останется больше ни девушек, ни матрон, доберутся и до нас и отнимут у нас те немногие золотые монеты, какие нам удалось скопить с таким трудом, о Господи милостивый!

И две старые кумы ушли, охая, кряхтя и гремя костылями.

Иоханна и сьер Хьюг грустно взглянули друг на друга и взяли за руки.

---

\* Складной фламандский нож с длинным и остро заточенным лезвием.

— Два удара *кнейфом*, — сказала Иоханна.  
— В честной драке, — уточнил сьер Хьюг.  
— Кровавое пятно, кровавое пятно на песке, в том месте, где он упал.  
— Честная драка, — повторил сьер Хьюг.  
— Когда тебя нет дома, мне всегда так тревожно, — заговорила Иоханна, — мне тут одной страшно. Ах! Если бы хоть можно было надеяться, что он жив. Симон! Симон! Кто-то стучит в дверь. Слышишь, вот Хрипун пошел отворять... голос... мужской голос, он мне знаком... Они идут сюда оба, Хрипун и он... Защити меня... Я боюсь.

Хрипун открыл дверь; из-за его спины показался красивый и нарядно одетый мужчина.

— Махмуд! Махмуд! — вскрикнула Иоханна. — Спаси меня, Симон!

И она спряталась за спину сьера Хьюга.

## V

Махмуд — ибо это был он — вошел в горницу. Хрипун так и остался стоять за дверью, опираясь на костыль, изрядно удивившись имени нехрестя, которое выкрикнула Иоханна, и испугавшись ужаса, прозвучавшего в ее голосе. Поэтому он и остался стоять там, как почувывший опасность верный пес, которому привязанность к хозяевам велит заботиться о них. И Клаас, подумав о том, как стары его плечи, как

дрожат руки и трясется все тело, спрашивал сам себя, а сможет ли он защитить сьера Хьюга и Иоханну, если собрать надлежащим образом все его старые кости.

Тем временем Махмуд продолжал стоять на пороге: Иоханна и сьер Хьюг могли спокойно его рассмотреть. Волосы у него были темны, цвета ореховой скорлупы, и он был так же высок, как сьер Хьюг, хотя и потоньше в кости. Он сурово осматривался вокруг огромными черными глазами, на губах не было ни тени улыбки, но и гнева тоже не было. Казалось, спустя три года он явился исполнить обет какой-то дикарской и хладнокровной мести сьеру Хьюгу и Иоханне.

Иоханна в ужасе прикрыла рот фартуком, заглушая рвущиеся из груди вопли и рыдания. Сьер Хьюг, чье сердце давно уж терзали муки совести, стоило ему лишь подумать о Махмуде, падающем на песок от смертельного удара, — сьер Хьюг, увидев его живого, вдруг обрадовался и принялся громко хлопать в ладоши.

— Вот ты и воскрес, чернявый, — сказал он. — Слава Господу нашему! Зачем ты к нам явился?

Махмуд подошел к нему вплотную и ответил, ударив себя в грудь:

— Два удара. Рана за рана.

В это время Хрипун поднялся в спальню Росье и сказал ей:

— Маленькая хозяйка, соблаговолите спуститься и взглянуть, что там внизу происходит: к *баасу\** пришел мужчина свирепого вида и госпожа Иоханна кричит и плачет.

Пока Клаас поднимался в спальню Росье, чтобы сказать ей это, сьер Хьюг так ответил Махмуду:

— Что-то я тебя совсем не пойму, что значит рана за рану? Чего это ты грудь выпятил? Я победил тебя в честной драке; ты исцелился; чего ж ты хочешь еще?

— О горе! — крикнула Иоханна, плача за его спиной. — Неужели ты не понимаешь, что он пришел за твоей жизнью, Симон?

— Рана за рана; — снова повторил Махмуд.

Эти слова донеслись до Клааса, как раз когда Росье, взбежав впереди него в горницу, распахнула дверь. Он не пошел за ней внутрь, а продолжил размышлять, чем может послужить хозяину. И не без основания рассудил так: «Войди я сейчас ни с того ни с сего в горницу этаким дурнем, раз такое задумал этот нехристь с хозяином сделать, так он с меня и начнет, чтобы сперва завалить слабого, а уж потом иметь только одного противника».

— Увы, добрый мой хозяин, — вслух сказал Клаас, — чую запах крови и битвы, так вдохни-

---

\* Хозяин (*флам.*).

те же крепость в старые мои плечи и хитрость в древние мои мозги.

Росье же, едва увидев Махмуда, громко вскрикнула и, вся побледнев, задрожав и оцепенев, подбежала к Иоханне, ища у нее защиты.

— Это он, сестра, это он, — причитала она, норовя прижаться к ней, точно цыпленок под крыло курочки.

Но у Иоханны не было сил удивляться или отвечать, все ее мысли были поглощены угрозой, нависшей над жизнью ее любимого Симона. Правда, она успела-таки понять, что Росье узнала в пришедшем того, кого видела утром, но утешить ее она могла лишь тем, что крепко прижала к груди, чтобы рыдать и сетовать вместе.

Когда Махмуд увидел вошедшую Росье, в нем, казалось, проснулось чувство, будто бы даже сродни радости, однако такая радость ничего хорошего не предвещала и была совсем не похожа на приветливую улыбчивость добрых сердец.

Сьер Хьюг стоял прямо перед ним, осторожно пытаясь нащупать за поясом свой *кнейф* и не находя его там и так же настороженно ожидая слов пришельца; и Махмуд действительно заговорил.

— Битва в песках, — сказал он. — Два удара в грудь. Пятно крови на земле. Упал.

Женщину забрал, женщина любимая, теперь слушай. Кровь за кровь, рана за рана, женщина за женщина.

Сказав это, он указал на Росье.

— Красивый ты малый, — насмехаясь над ним, произнес сьер Хьюг, — и задирист как настоящий петушок, ах ты, жизнерадостный мой чернявый любезник. Ты, значит, хочешь отведать мою юную сестричку и в то же время своим добрым кинжалом содрать с меня шкуру. Ха! Ишь ты, Росье захотел... а ну-ка попробуй, возьми ее прямо сейчас, дружок. А мыто, брабантцы, вкалываем в поте лица, прежде чем добиться хоть чего-нибудь в жизни, — и вот пожалуйста: этим нехристям, крещенным верблюжьей мочой, стоит сказать одно слово, предательское слово, и оно уже действует как приворотное зелье. Убивай и грабь, грабь и убивай, проклятый язычник, ни Росье, ни я не будем тебе прекословить.

Говоря это, он так издевательски поглядывал, так весело блестели его глаза и так гордо вздернулась голова, что к Иоханне вернулась смелость, и она сказала:

— Я так люблю тебя, муж мой...

Росье, кроткая голубка, решила вмешаться и заговорить, подумав, что доброта ее сердца наверняка тронет этого переодетого африканца, явившегося в их тихий домик, чтобы пролить кровь и похитить ее отсюда.

— Ах, господин чужестранец, — сказала она, — разве вы не замечаете, как нам всем, и мне и моей сестре, страшно смотреть на ваше злобное лицо, которое показалось мне таким добрым у входа в церковь?

И она улыбнулась ему своими красивыми глазами, моля подарить ей ответную улыбку; но нехристь улыбался не шире, чем чурбан во дворе, и отвечал:

— Битва проиграна, битву надо снова, раны за раны, кровь за кровь, женщина за женщина.

Тут сьер Хьюг рассвирепел

— Ну вот что, — сказал он, — мне надоело слушать, что тут изрыгает твоя подкопченная рожа. Смотрю на тебя и чувствую, что как будто горчицы объелся, так что мы сейчас изрубим тебя на салат по-магометански, друг любезный, на салат из нехристя, поперченный сыном пророка.

— Опомнись, братец, — вскричала Росье, — не проливай крови ближнего своего.

— Ах, ближнего, — понемножку оживляясь и показывая на Махмуда, сказал сьер Хьюг, — да уж, ближний тигр, ближний шакал, ближняя гиена! Да знаешь ли ты, зачем он явился? Ранить меня после того, как я честно с ним сразился, а потом украсть тебя и увезти в страну мавров, где ты должна будешь чувствовать себя счастливой оттого, что станешь обмывать его княжеские ноги и делить его постель еще с



двадцатью красивыми валлийками, которых в базарный день стегают кнутом прямо на деревянных бочках на главной площади!

— Ах! Спаси его, Иисус всемогущий, — вскрикнула Росье, — пусть он уверует и раскается.

Потом, вырвавшись из объятий сестры и миновав сьера Хьюга, она бросилась на колени перед Махмудом, который торжествующе улыбнулся при виде ее унижения.

— Господин мавр, — сказала она, — коль скоро вы и вправду из тех несчастных грешников, которых ждет вечная геенна, господин, я, бедная брабантская девушка, хочу вас спасти... происхождение я веду от знатных мужчин и воспитанных женщин, и если вы захотите остаться в нашем краю, обратиться в нашу христианскую веру и отречься от неверной мавританской, то, быть может, я дам вам то, о чем вы, как мне показалось, настойчиво просили меня этим утром у входа в церковь.

— Росье, — спросил сьер Хьюг, — что это значит?

— Я хочу сказать, — смиренно ответила она, — что от одной мысли о том, что между тобой и этим мужчиной из Мавритании может произойти сражение, я словно уже умерла. И еще скажу, как честная девушка, которой нечего таить, что сегодня утром я уже встречала того, кто сейчас стоит перед вами, и он тронул

мое сердце и сам своим взглядом сказал, что испытывает ко мне нежное чувство. И ради себя самой, о господин брат мой, ради любви, которую я испытываю к тебе, и ради того чувства, какое в то мгновение вспыхнуло во мне к нему, я прошу вас обоих не проливать здесь крови, а решить дело миром и отдать меня ему в жены на тех условиях, о которых я уже сказала.

Нежно любил сьер Хьюг свою сестрицу Росье. Так и застыл он, потрясенный, не зная ни что думать, ни что делать, а Иоханна в это время громко рыдала, взывая:

— Не дайте свершиться несчастьем с нами, о Иисус всемогущий, отведите от нас этот бич карающий.

Тем временем Хрипун Клаас, поднявшись в свою светелку, где располагалось его ложе для сна, снял со стены славный арбалет, сохранившийся в порядке и отдраенный до блеска, воспоминание о тех временах, когда Клаас, прозванный тогда Грозою Пернатых, был главой достославного цеха арбалетчиков... Вот уже вложена стрела, натянут стальной лук, и Клаас, похрипывая, но сгорая от нетерпения поддерживать своего хозяина, притаился за дверью.

Махмуд, усмехаясь нерешительности сьера Хьюга и добрым словам Росье, отвечал:

— Нет Бога, кроме Аллаха, высокого, великого. Христос — разбойник, распятый на крес-

те. Кровь за кровь, рана за рана, Махмуд победитель, женщина за женщина.

Из ножен, украшенных драгоценными камнями, он выхватил тот самый ужасный кривой кинжал, что мавры между собой называют ятаганом.

— Рана за рана, — отозвался сьер Хьюг, переразвивая его непривычную манеру говорить на чужом языке, — а чернявый за чернявый, уж если у тебя на языке других песен нету, так позволь для нашего удовольствия слегка разнообразить хоть эту. Между прочим, должен тебе сказать, дружочек, что если я увез у тебя жену, то потому только, что бедняжке больше понравилось быть единственной хозяйкой в счастливой семье среди добрых людей, нежели оставаться рабыней и прислуживать твоим прихотям в числе прочих молодых мартышек, которых откармливают нарочно для твоих гнусных забав. Еще мог бы сказать тебе, что среди нас, брабантцев, уж если ссору рассудило железо, то требовать отмщения потом — признак дурного воспитания. Ну а теперь я все-таки готов сразиться с тобой заново и устрою тебе такую головомойку, что ты у меня мигом посветлеешь.

Говоря так, сьер Хьюг все искал оружие у себя за поясом, но никак не мог его нащупать и взглянул тогда на очаг, не осталась ли в нем большая кочерга; но кочергу убрали, потому что дни стояли теплые; тогда он пробежал

взглядом по стенам, а на них висели только gobелены тончайшей работы, и ничего железного. Он сказал себе: вот пришла моя смерть, как вдруг заметил в углу древко алебарды, выгесанное из крепкого орехового дерева и заждавшееся, когда в него вставят железный наконечник. «Слава Богу, — сказал он себе, — это как раз то, что мне нужно».

Мавр размахивал своим кривым клинком по одну сторону большого стола. Сьер Хьюг держался по другую, а позади него, дрожа от ужаса, обе женщины заходились в рыданиях и причитаниях.

— Теперь, — сказал он, — это дело только нас двоих. А вы, душечки, потихоньку уберитесь отсюда, чтобы вас не забрызгало, когда я буду прочищать нутро этому чугунку немьтому.

И сьер Хьюг, отшвырнув стол, приготовился напасть на Махмуда. Какие красивые удары наносил он древком из орехового дерева, этого словами и не скажешь. Махмуду попадало и по голове, и по шее, и по ногам, а больше всего по плечам, и доставалось ему так крепко, что поистине удивительно, как он от каждого удара не рассыпался на мелкие кусочки. Но этого не случилось, ибо был он так увертлив, хитер и проворен, что все удары как будто от него отскакивали. Прыгая, как взбесившийся кот, изворачиваясь, как мартышка, он что ни миг рассекал сьеру Хьюгу то грудь, то лицо острым

концом или лезвием своего кинжала. К тому же его ятаган был такой же длины, как и шпага, и выкован из крепкой доброй стали, так что сьер Хьюг с легкостью мог отправиться в мир иной в этой неравной битве.

Тут вдруг вошел старый Клаас с арбалетом, кашлянул и спросил:

— *Баас*, как ты думаешь, убить мне этого нехристя?

— Нет, парень, — отвечал сьер Хьюг, все еще нанося удары, — я не хочу, чтобы там, куда он от нас сбежит, он бы говорил, что одного мавра могут одолеть только два христианина.

— *Эх, баас!* Да ведь тебя в этой драке могут и убить, пойду я хоть шпагу тебе поищу.

— Чтобы наkostenять по спине этому мужичью, хватит и палки. Смотри, как я его колочу, отмываю, полощу, скоро он белее снега станет.

— Ха! *Баас*, ведь плохо вы поступаете, что рискуете вашей драгоценной жизнью под ударами кривого ножа этого чертяки злобного.

— Убирайся, — сказал сьер Хьюг, — нечего лезть ко мне со своими советами.

Обе женщины, увидев, что дверь, через которую вошел Клаас, так и осталась открытой, поспешно выбежали тоже, чтобы позвать на помощь, и увидели, что старик навтыяжку встал у одной из дверных створок, сжимая свой арбалет. А битва была далека от завершения, и

вот мавр испустил громкий крик, получив удар дровком по щеке.

— Выплюнь зубы-то, — посоветовал сьер Хьюг, — да ты не стесняйся, дружок мой желторожий, избавляться от лишнего никому не возбраняется. — Сказав так, он тут же был ранен в руку, но продолжал осыпать противника ударами и говорил: — Когда луковицы готовят к жареву, на них делают надрезы, чтоб были они полакомее; так и брабантский христианин: чем больше красного соку дает, тем сильнее в нос бьет. Да ты и сам чувствуешь это на своей тощей шкуре? Сказывают, ореховое растирание: — бальзам для гневливых; что ж, не лжет ли пословица?

Тем временем Махмуд изловчился и отсек пол-уха сьеру Хьюгу, который из гордости даже не вскрикнул, а негромко продолжал говорить, в то же время перехватив дровко покрепче да половчее:

— А что, друг мой шафрановый, не учился ли ты где великому искусству танцевать? Похоже на то, уж очень стремительно ты порхаешь. А ведь нет учителя лучше ореховой палки. Будь мы с тобой у Синих ворот, в тех прекрасных местах, где так широко разливается Сенна\*, уж ты бы у меня получил на орехи, попорхал

---

\* *Сенна* — большая река в Бельгии. В те времена, о которых идет речь, — едва ли не крупнейшая в Брабанте.

бы как ласточка в небесах. Да ты бы и на башню Святых Михаила и Гудулы мигом взлетел с твоими кошачьими лапками. Танцуй, дружище, прыгай, мой апельсиновый. А ты любишь орешник, не так ли? Вижу, вижу, как радостно ты принимаешь ореховые ласки. Ведь пляска — самое явное выражение радости, а ты плясешь как прокаженный, который вдруг получил в наследство Куденберг, а тебе, уж наверно, известно, что это дворец наших князей.

— О Аллах! — вскричал тут бедняга Махмуд в совершеннейшем бешенстве. — Душа за душа, обида за обида. Пророку угодна смерть христианина. Жена и сестра христианина служанки в моем гареме.

Сказав так, он направил ятаган прямо в грудь съеру Хьюгу, но только едва оцарапал, разрезав одежду.

Хрипун так и стоял за одной из дверных створок, все еще бурча про себя: «Если бы этот мавританский душегубец хоть мгновение мог не шевелиться. Уж я бы тотчас засадил ему славно стрелой промеж глаз, или в ухо, или в какое другое место его дурной головы. Но если я сейчас выстрелю, то могу угодить в *бааса*. Эх, старый хрипун, ты уже ни на что не годен в этом мире, бешеного пса и то убить не можешь. Иди лучше утопись, несчастный лодырь». При этом он продолжал зорко подстерегать тот миг, когда мавр будет неподвижен, чтобы в свою

очередь задать ему перцу; но Махмуд все под-  
скакивал, наступая и отпрыгивая, как вдруг  
послышался оглушительный треск — это древ-  
ко со всей силы обрушилось на плечо мавра,  
отчего он и рухнул, точно свинцовая чушка.

— *Баас*, — входя, сказал Хрипун, — ну, по-  
мер он, что ли?

— Господь милостив, надеюсь, что нет, —  
откликнулся съер Хьюг.

— Ах, *баас*, — возразил Хрипун, — да ведь  
это большая милость со стороны вашего не-  
бесного покровителя.

— Однажды я поступил с ним нехорошо;  
кара должна была настичь не его, — опять ска-  
зал съер Хьюг.

— Так решил Бог, да будет Он благословен  
во всем, *баас*.

Вдруг через ворота, ведущие в замок Каменная  
крепость, в дом ворвались несколько солдат из  
воинства сельского старосты, ремесленники с  
оружием и множество женщин, которых так и  
распирало от любопытства.

Снизу кричали Иоханна и Росье: «Держись  
крепче, муж мой», «Смелее, брат, мы спешим  
тебе на подмогу». Но, поднявшись вместе с  
толпой солдат и женщин по лестнице и увидев  
мавра распростертым на полу, а съера Хьюга  
окровавленным и опечаленным своей победой,  
обе бросились порывисто и нежно обнимать  
его и говорили ему так:



— Куда ты ранен, братец? Где тебе больно, муженек мой? Не здесь ли твоя ужасная рана, из которой вытекло столько крови? Скорей за бальзамом. И подогреть воды. И вот еще след от удара. Есть и другие, конечно же? Покажи нам все раны, какие ты скрываешь, и немедленно в кровать, пусть твое несчастное измученное тело отдохнет. Скорее, давай мы тебя отведем.

— Душеньки мои, — отвечал сьер Хьюг, — этот жалкий кусочек, который мавр выцарапал из моей шкуры, слишком ничтожен, чтобы я из-за него завалился спать. Еще рано, да и к завтрашним делам надо приготовиться. А кроме того, дамы, побеспокоиться сейчас нужно не обо мне, а вот об этом распростертом здесь теле. А я просто не мог позволить ему, — добавил он с глубокой грустью, — оскорблять вас обеих и не мог не защитить собственную жизнь, которая принадлежит не только мне.

Услышав такое, Иоханна и Росье наклонились над Махмудом, прислушиваясь, дышит ли он еще. Но ни малейших признаков дыхания они не почувствовали. Хотели было приподнять его, но он снова грохнулся на пол, как мраморная статуя.

Хрипун, сияя от восторга, говорил с толпой.

— Смотрите, вы все, — восклицал он, показывая на Махмуда, — он явился сюда прямо

из Мавритании с этим кривым топориком, которым хотел зарезать нашего *бааса*. А у сьера Хьюга не было в руках ничего, чтобы от него защищаться, кроме вот этой палки, которая теперь лежит здесь вся разбитая. И ей он так крепко отколотил его, что тот, как видите, совсем помер. Это сделал *баас*, мой славный *баас*!

— Да здравствует сьер Хьюг! — кричали в толпе.

А женщины, разглядывая лежащего Махмуда, говорили меж собой:

— Хоть и черный, а совсем не урод.

Мужчины же, вынув из его руки ятаган, передавали его по кругу, говоря:

— Как остро заточен, вот прекрасный нож для шпигования! Настоящее чудо, что против него выдержала битву какая-то жалкая палка.

Вдруг Росье вскрикнула:

— Он открыл глаза, он еще жив.

И правда, Махмуд открыл глаза и удивленно и гневно осмотрелся. Потом попробовал встать и не смог; наконец с видимым усилием поднес руку к губам, белым от пены.

— Он хочет пить, — сказала Росье, — пить, поверженный несчастливец.

И поспешно побежала за водой сама. Вернувшись, дала ему попить маленькими глотками; а услышав, как он стонет, заплакала.

## VI

Тем временем сьер Хьюг послал одного из ополченцев сельского старосты за лекарем, каковым был личный доктор самого герцога, а Хрипун тем временем прислуживал в нижней зале, где народ праздновал победу сэра Хьюга, разливая крепкое ячменное пиво всем, кто подставлял кружки. Махмуда же по настоянию медика перенесли в мягкую постель в жарко натопленной спальне.

Семь дней и восемь ночей не отходили от него Иоханна и Росье. Сьер Хьюг приказал двум вооруженным слугам встать в спальне на карауле, зорко следя, чтобы мавру не вздумалось отомстить за свое поражение его жене и сестре.

Но тот, бедняга, и не помышлял об этом. Ибо, ежеминутно видя перед собою изящную красавицу Росье, слушая, как она говорит нежные слова, утешая его, и как плачет, слыша его стоны, он смягчился от такого нежного обращения и проникся к ней доброй любовью. Но безмолвствовал и лишь смотрел на нее, когда она на него не глядела. Сьер Хьюг же вовсе не хотел даже взглянуть на него, из опасения, как бы вид его самого не поверг бы того во гнев и не помешал бы исцелению.

Часто Росье выговаривала Махмуду:

— Ах, господин, зря вы не хотите простить моему брату причиненное вам зло, как он про-

стил вас за то, что вы хотели над ним учинить, ведь тогда ваше выздоровление наступило бы скорее.

Но мавр, качая головой, отвечал:

— Женщина за женщина, — и снова погрузился в обычное свое молчание.

Росье живо парировала:

— Если уж вам так прикипело взять себе жену в этих краях, очень может быть, господин, что найдется таковая, кто захочет ею стать. Но для этого вам придется бросить и думать о возвращении в ваши горячие пески, из которых вы пришли, тем более что, — добавляла она, показывая на фигуру Иисуса распятого, — как раз здесь-то и живет несчастный добрый Бог, умерший ради вас, как и ради меня, господин, и Он может дать вам счастье, если вы того пожелаете.

— Аллах велик, — говорил Махмуд.

— Аллах совсем не любит вас, — с отменным лукавством отвечала на это Росье, — ведь допустил же он, чтобы у вас увезли жену и нанесли вам две раны. Вот горе-то! А ведь наш Бог не стал бы поступать так с христианином.

Сперва Махмуд и слышать не хотел дурного слова о своем пророке, но Росье все-таки частенько повторяла это, а ему так нравилось смотреть на ее живые глазки и изящный ротик, внушавшие ему, что Аллах совсем его не любит.

И вот однажды, на тринадцатый день, он наконец произнес:

— Аллах неблагодарен.

И попросил Росье сходить за сьером Хьюгом.

Сьер Хьюг вошел, и Махмуд сказал ему:

— Ты был враг мне, ты ранил меня, но я спал в твоей постели и ел твой хлеб, и я прощаю тебя; скажи мне, как совершается прощение между христианами.

— Сейчас тебе покажу, — отвечал сьер Хьюг, — и тоже прощаю тебя, ибо то, что ты делаешь сейчас, хорошо.

И он даровал ему поцелуй примирения, и мавр в свою очередь тоже поцеловал его.

Вскоре сьер Хьюг услышал от него, что он хотел бы взять в жены его сестру Росье, и охотно дал согласие, видя, как тот исправился, и зная из надежных источников, что он в своих краях происходил из хорошего рода и был из самых богатых людей.

Махмуд, еще много раз повторив, что Аллах неблагодарен и он не хочет больше поклоняться таким богам, был крещен в соборе.

Крестили его еще через некоторое время; Махмуд стал прозываться именем Готье, а деверь сьера Хьюга, сьер Рулофс, исхлопотал у герцога разрешение новообращенному носить его славную фамилию, которое было ему даровано.

Когда люди видели мавра с черными, как смоль, волосами и Росье, белую как снег, то говаривали, что уж эта пара непременно расплодит породу, какой доселе и не видывали во всем Брабанте.

Росье, как и задумала, сделала счастливым Готье Рулофса. А он ради нее был готов на все, что угодно, и благородные деяния и недобрые, свершения мужа доблестного и мальчишеские выходки простолюдина, так уж свела его с ума эта лукавая изящная девушка, которая так хорошо выходила его и так ясно доказала ему черную неблагодарность его Бога.

Вот почему говаривают, что есть края, в которых девушки умеют подпиливать клыки и подстригать когти у львов.

## ДВЕ ПРИНЦЕССЫ

Жил да был один король; не болтун, не ворчун, зато уж такой хохотун; румян лицом, здоровенек пузцом, словом — добрый старик, наидостойнейший из владык; народом правил честь по чести, и, соберись мы вместе — те, те, те и эти, — тотчас решили бы, что такие уж повывелись на свете. Давненько стукнуло ему шестьдесят; весело прожил он, щедро раздавая дамам поцелуи, а еще охотней подставляя уста под винные струи; в жизни такой едва ли сыщется место печали. Да ведь так жить и велено, пока молодо-зелено; а седьмой десяток — не шутки; это уж зимы ранние погудки; тут пора подумать о теплых перчатках, пушистых мехах и тройных портках. Ах! А свежая улыбка, а гордый шаг, а острый глаз — эти сокровища мало-помалу оставляют нас, как и волосы, что падают с головы. Увы — каждый прожитый миг уносит в небытие часть нас самих; вот уже и ум-тугодум, и рука не ловка; а минуют годы — уж мы ворчуны и уроды,

что сидят и ждут-пождут, когда их призовут на строгий Божий суд.

Охо-хо! Золотая пора — молодые года; у доброго молодца румянец в пол-лица, взгляд с огоньком, тело — кровь с молоком; уста всегда улыбаются, ибо нипочем ему ни жаркий степной суховей, ни морозный борей; не обжигают, а лишь ласкают они чело его. Вот в радости сердечной и скачет пташкою беспечной; душа весельем горит от зари до полночи и с полночи до зари; все-то ему любо — и цветение весны, и нежный ветерок, подобный вздоху любви, что вылетает из девичьей груди; ураган, в ярости качающий деревья, и снег, укутывающий землю белым покрывалом; громадные черные тучи, летящие по небу словно грифы, и заросшая ниша в башне старинного замка, где вьют гнезда совы; весь мир у ног его, и полевые цветы, склоняя к нему прелестные головки, шепчут: ты! ты! все твое — изволь; ты — всему король!

Был у старого короля сын, пышноусый блондин; в самом соку и в такой красе, что любили его поголовно все; пригож юностью свежей и вежеством нежным, чтоб долго не болтать — во всем был на «ять»; правда, ученью предпочитал развлеченья: с утра ногу в стремя, после — псарне время, а уж насчет прекрасных дам не стану и рассказывать вам — ибо талдычить все одно раз за разом — сие латинис-



ты назовут плеоназмом. Все были без ума от принца, но больше всех — две принцессы; это уж слишком для такого повесы; он и сам соглашался, что слишком, да ведь то бесспорно, что много добра иметь не зазорно.

Любить сразу двоих! Это против морали; надо выбрать из них — эта ли, та ли? И чтоб избегнуть злых наветов, не обойтись нам без их портретов. Одну назвал он дорогой, зато отвергнут был другой; та, златокудрая, безумно весела; а черноглазая спокойна и мудра; блондинка любит танцы, игры, скачки — а для брюнетки правды нет в горячке. Блондинка принца увлекает в хоровод: то улиц городских послушать гомон, то в лодочке вдвоем — она гребет, то на пиру с нежнейшею истомой ему признается в любви — и томны взгляды под перебор вечерней серенады... А та, соперница, чьи черные глаза всегда насмешливы, умны и строги, чья мысль всегда девически чиста, темны одежды и прямы дороги, сидя за пальцами, с сочувствием глядит, как там резвится златокудрая сестренка, как то заплачет горестно навзрыд, то захохочет весело и звонко. Ей-ей, ей нет милей лесов-полей — и черные глаза вдруг улыбнулись ей.

Ибо — что в жизни случается редко — любили друг друга блондинка и брюнетка; две ангельских души, обе дивно хороши; у одной наряды строги, у другой пестры, а вместе как

две родные сестры; да видна и разница — одна разумница, другая проказница; та любит полевые фиалки: с утра свеж горицвет, а вечер его и нет — да не беда, что краток жизни срок, когда так свежи на головке белокурой; а лоб брюнетки украшает лишь веночек бессмертников, торжественный и хмурый.

Но принц любил ее, духовное совершенство в телесной оболочке, будто изваянной из мрамора самим Фидием; любил ее чело, что было ясно и светло, и смелый взгляд, и гордый вид; а золотоволосая принцесса не умела улыбаться так мягко, ее голос не мог так плавно переходить от строгости к ласке и при этом звучать красиво, словно лирные переливы; не было у белянки и неприступной осанки, и таких целомудренных манер, что отступит самый дерзкий кавалер. О, сколько раз, коленопреклоненный, жестокосердьем дамы распаленный, он вопрошал, обижен и ревнив: «Пошто ты отвергаешь мой порыв?» Зря он худел, рыдал и пламенел от страсти — с брюнеткой был ему удел молить о счастье понапрасну. Она на это отвечала: «Тебе беспечность не к лицу — да помоги же ты отцу! У старика сомкнутся скоро вежды — в тебе одном лишь все его надежды! Клянись учиться управлять страной, а предомной не ной. К ученью не приступишь сей же час — вон с глаз! Зато коль обозришь родимые края — ах, вот тогда твоею стану я!»

Вот задача из задач — не решить спроста, хоть плачь; а юный принц был такой непослушный, так сладко жилось ему в неге простодушной, не копать в задачках, а гарцевать на скачках он предпочитал — и решать ничего не стал. Просто пошел от девы мудрой к деве златокудрой — а та и говорит ему: «Вот у меня два красавца коня; оба полны молодого огня; отдадимся-ка на волю фантазии и промчимся на них по всей Азии». Принц, недолго думая, вскочил в седло; и куда обоих понесло? Но так быстро поскакали, дернув стремя стгоряча, и играли в догонялки, друг над другом хохоча; вихрем неслась впереди ее золотистая грива, и было обоим всласть гарцевать на краю обрыва, — так и шею сломать недолго. Перескакивали вместе через горы и моря — сгинуть мне на этом месте, если что сболтнул я зря: алле-оп — любо-дорого смотреть на такой галоп.

Тут случись, что как-то в ночь старому королю стало невмочь, и пришла ему пора навеки уснуть, но успел наказать сыну шепнуть, чтоб был он славен, счастлив и благоденствен. Всякое странствие подходит к концу — вот и принц, возвратясь ко дворцу, немало изумился, увидев, что у врат стоит на часах отставной солдат; старый побируха, слышит вполуха; лицо задубело, взгляд осиротелый; королевские слуги ему подают, а он не берет; ста смертям смотрел в глаза, а тут на усах слеза; так по струнке и стоит у

дворца. Подивился принц на эдакого молодца и — сразу к виночерпию: «Что невесел, нос повесил? Где твоих щек золотистый багрец?»

Тот отвечал, побледнев, как мертвец: «Горе, мой принц, пришло во дворец». Вздрогнул принц от предчувствия, а к нему уж бежит королевский судья, встал сам-третей и — без затей: «Прежних всех королей, — гнусит, — нам молодой милей!»

Понял тут принц наконец, что умер его отец. И охватила его скорбь и хвороба: три дня и три ночи молился у гроба, каялся-рыдал, скорбел-страдал: «Благородный отец, ты, что жизнь мне дал, — знал бы ты, как я тем удручен, что советы твои были мне ничем! Увы! Будь ты жив, я сказал бы — поверь, я стану другим, стану лучше теперь».

Вот два года прошло, уж третий в дверь стучится — пришла пора принцу жениться. Напрасно он судил да рядил: по-прежнему двоих любил. Иные его осуждали бездушно; да сердцу не прикажешь, сердце непослушно. И все ж смутился тут его дух: как объявить, что женится на двух? Это против обычая и нарушает приличия; тогда растолкал он ученых ленивых и велел хорошенько порыться в архивах — не было ли каких законов времен оных; те, обчихавшись от книжной пыли, в самом затхлом углу наконец нашли старый-престарый декрет, что в двоеженстве дурного нет, если в ком столько прыти,

что одной ему недосыти; однако не больше двух жен, строго прибавлял древний закон, ибо коль пораскинуть умишком, то сверх этого будет уж слишком.

Как услышал он про сей декрет, так и принес двойной брачный обет; одна жена мудрая скромница, другая — шалая чаровница; и так его жизнь тут пошла хороша, что ничего не просила душа — ни славы царя-атамана, ни несметных сокровищ султана; оно понятно, владыкой мира такому не бысть, зато обычаи при нем блюлись, а если подчас доходил до бедокурства — так одного только ради балагурства.

Немного будет в сказке прока, коль нет в ней тайного урока; чтоб не утратить смысла нить, я суть хочу вам объяснить. Вот главное соображение: блондинка есть — Воображенье, домашний дух игры и мировой души броженье. Да как ее такую не любить? Ведь от природы нередко умников мудрее сумасброды; она красива, весела, полна игры, глаза блестящие восторженно сияют, а зубы детскою улыбкой ослепляют; а то, в ненастный вечер хмурый прижавшись к вам головкой белокурой, как малое дитя, от страха вздрогнет вдруг — ей чудится, что ожил темный луг, и дерево на нем, и плачут травы в реке у самой у дубравы... Как не любить ее, когда впадает в печаль, нешуточно грустит, надувши губки, — ах-ах, зачем я в роце сорвала красивые жи-

вые незабудки! Как не любить, когда, увидев вас в тоске-печали в одинокий час, она, придумщица прелестная, тотчас на все готова, чтобы развлечь или напугать волшебной силой слова: «Бродит в полях мертвец истлелый, сам квелый, саван белый, стук-постук, в глазницах слезы от вечных мук, грешников таких забирает ад, а зубы стучат! А кости гремят!» — и страхом полон простодушный взгляд. Но миг — и унесло ее далече: «Бьют барабаны, горны трубят — армия на армию выстроились в ряд. Лязгает железо, искры от шпаг — обагрится кровью чей-то гордый стяг. О, сколько павших в битве могучей, — даже солнце в траур облакают тучи!» И что ж — надолго этот горький плач? Ничуть не бывало — ей все мало: «Жили-были старые любовники, любили посидеть у камель-ка, в руке рука; уж они-то вам рассказали бы сказку лучше всех; всего в ней было бы вдоволь — и свежего ветра, и яркого солнца, и шума лесов, и запаха цветов; и зеленые лужочки, и фруктовые садоочки, где красных яблонек шпалерные рядочки; а ну-ка наострите оба ушка — однажды утром юная пастушка... Но слышу я, к вам постучали в дверь». — «А досказать мне сказку?» — «Не теперь».

О златокудрая мадонна, я поклоняюсь тебе, ты — моя донна; ведь ты — ничтожной плоти кровь и животворный сок; в счастливый час тебя придумал Бог; не будь тебя, не будь в мире

мысли и веры, хотя бы простой веры в доброе и вечное, — чем была бы наша жизнь быстротечная, как не горькой чредою взлетов и падений, — и потому-то в нашем царстве пошлости ты — высшее наслаждение. Ты — моя греза, моя иллюзия, морок мой, а подчас и кошмар ночной — да что за беда; будь ты хоть сам дьявол, хоть нагая нераскаившаяся Магдалина, хоть только вымысел досужий, — люблю тебя, друже, и в миг радости моей, и в миг поражения ты всегда желанно мне, о Воображение. А случись так, что сорвет тебя конь-огонь слишком рьяно, слишком резво и помчит понад самую бездной — так, что страшно вздохнуть, вниз не взглянуть, — пересяду я в тихие дроги и поеду по знакомой дороге шагом неспешным, спокойным, чтоб доехать чинно-пристойно до сестры твоей Рассудительности, — а уж она прохладит твой лоб, освежит и утешит и станет навек твоя, как и я, вечный твой друг, девочка моя сумасбродная; и тогда да пребудет здоровым наш дух, и чтоб блеск твоих глаз не погас, доколе не придет наш смертный час.

## ФЛАМАНДСКИЕ АНТИКИ

В знаменитой «Легенде об Уленшпигеле» Шарля де Костера есть сцена, в которой один из центральных персонажей романа — Ламме Гудзак, жизнелюбивый весельчак и обжора, с сожалением говорит Тилю и Неле — уж они-то, воплощающие бессмертную душу Фландрии, вечно пребудут молодыми, а вот ему, толстяку-добряку, смеховому низу, брюху Фландрии, ее потрохам, от времени и тлена не убежать...

Казалось бы, в схожем положении оказывается переводчик, представляющий читателю «Брабантские сказки» — ранний сборник де Костера. Ведь во всем мире и вправду бессмертную душу Фландрии представляют себе по «Легенде о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке». И это, бесспорно, шедевр на все времена. А вот ранний де Костер — вроде как подготовка, проба пера, еще робкие подступы к созданию полифонической народной эпопеи фламандцев. Что тут может быть нового, бессмертного? Потроха... И нынешний читатель, избалованный глянцевыми обложками, бешеной конкуренцией на рынке романов, авантюрными сюжетами, которые наперебой взялись выдумывать современные авторы, уже ждет сожалеющих извинений, что ему предлагают такой покрытый полуторавековой пылью литературный



антиквариат. Ведь никуда не деться от расхожего представления, будто ранние опусы классиков сегодня производят впечатление старомодное, тяжеловатое, да и зачем это, в сущности, сейчас издавать, раз уж так получилось, что абсолютное большинство читателей воспринимают Шарля де Костера как автора одной (зато какой великой!) книги.

Это не так. Хотя наследие писателя и в самом деле не слишком большое, оно включает и сборник народных легенд, и роман в духе Жорж Санд, и тираноборческую трагедию, и стихи, и даже любовные письма. И конечно, «Брабантские сказки» — причем они как раз из самых интересных.

Ибо в них — уже все темы и черты позднего де Костера, мастера языковой стилизации и страстного борца против социального неравенства, романтика с нежной душой и реалиста с трезвым, а подчас и жестоким взглядом.

Но при этом столь разноликий сборник явно написан человеком, еще не простившимся с юношеской свежестью восприятия мира. И если в «Уленшпигеле» различные стороны его дарования слились воедино так органично, что породили шедевр, то по «Брабантским сказкам» понятно, какими разносторонними были художественные поиски писателя, как нащупывал он свой уникальный творческий почерк, сколько разных стилей примеряло на себя его легкое перо.

Немного в истории литературы сыщется личностей столь же романтических, как Шарль де Костер. Пренебрег карьерой, все отдав литературе, — и прожил нелегкую жизнь писателя-неудачника. Родители служили у папского нунция — а ведь как сынок недолюбливал духовных особ! Отец и мать были, в сущности, только челядью

при сановитом священнике — а Шарль де Костер всю жизнь старался выглядеть аристократом, частенько этим бравировал, при том что жил в бедности: литературный и журналистский труд скорее забирал средства, чем их обеспечивал. И этот нищий, но гордый аристократ был самозабвенно влюблен в простой народ, в его легенды, сказки, анекдоты.

Словом, романтик до мозга костей.

Когда в 1861 году из печати вышло первое издание «Брабантских сказок», де Костеру было уже почти тридцать пять. Он уже приобрел известность в своем кругу сборником «Фламандских легенд» — эту блестящую обработку народных сказаний оценили друзья. В сущности, де Костер шел в русле всех европейских литератур — от братьев Гримм и Бальзака до Владимира Даля и Пушкина: весь девятнадцатый век придиричиво и внимательно всматривается в устный народный фольклор, старательно обрабатывает его, вводя в область высокой литературы. В этом состояла цель и костеровских «Фламандских легенд».

«Брабантские сказки» — нечто совсем иное.

Куда более авторское. Гораздо шире и современнее в смысле литературного кругозора. Но тут и ловушка: шире-то шире, но и — подражательнее...

Как и подобает юному романтику, де Костер взволнован двумя темами: любовью к женщине и любовью к народу.

Перешагнув порог двадцатипятилетия, Шарль де Костер влюбился в молодую барышню по имени Элиза. Нищему литератору без надежды на положение в обществе ее родителями было отказано (вот ведь и тут какая романтическая история!), и девушка вышла за состоятельного коммерсанта. Но любовь, а вернее — роман замужней дамы с влюбленным в нее писателем продолжалась еще восемь

лет. Литературным плодом этого романа явились «Письма к Элизе», опубликованные друзьями де Костера уже после его смерти. В них он выпендривается в любви, привлекая на помощь силу стихий, клянет ее мужа-деспота и педантов-соглядатаев. И читателю, одолевшему «Брабантские сказки», теперь, конечно, легко догадаться, под какой личиной выступает в них сам автор.

Но если прямодушный и наивный Дирк Оттеваар из повести «Браф-вещун» для де Костера — идеал фламандского мужчины («зачатого матерью после того, как она долго смотрела на полотна жизнелюбивого и чувственного Рубенса»), то его возлюбленная, кроткая набожная Анна, — не в меньшей мере идеал фламандской женщины. Покорная мужу только из чувства долга, она все-таки уходит от него, возмущенная его изменами, и разводится, чтобы быть с любимым.

Тут явные следы влияния Жорж Санд — писательницы, перед которой де Костер преклонялся, отголоски ее идей об освобождении женщины, ее праве на развод с нелюбимым супругом, на небрежение мнением света.

Увы, в жизни все было совсем не так, как в романтической истории любви. Любовники расстались. Оставшаяся при муже Элиза, по всей видимости, оказалась слишком практичной для героини Жорж Санд. Но романтики ведь неисправимы — и некоторые черты кокетливой, капризной и легкомысленной супруги преуспевающего дельца, по свидетельствам его друзей, де Костер придал «бессмертной душе Фландрии» — подружке Уленшпигеля Неле...

Романтический идеал, как известно, неосуществим. Иногда в нем приходится горько разочаро-

вываться... Так случилось с героем прелестного рассказа «Христосик» — деревенским резчиком по дереву, который так хотел жениться на идеальной красавице... а женился на перезрелой соседке и подарил ей подлинное счастье. Какой живейшей симпатией и любовью к народу проникнут этот рассказ! Но и демократизм молодого де Костера переоценивать не стоит. С упорством истого романтика, презирающего филистеров, и с наивностью книжного червя, черпающего демократические идеалы из пыльных библиотек, он с другом-художником посещает места народных гуляний, чтобы «изучать» простой народ, просиживая вечера напролет в дешевых грязных трактирах, наблюдая нищую, грязную жизнь и придумывая красивую любовь этим бедняцким парочкам, танцующим на ярмарочных гулянках. Вот благородное намерение де Костера: «Видеть народ, и только народ. Буржуа повсюду одинаковы». А вот и реальность: «Ходим от таверны к таверне, проваливаясь в эти ямы, где нет иных соблазнов, кроме скверного пива...» В «Христосике» все-таки отображена и грубость, дикость деревни. Зато в изящной миниатюре «Смирненное прошение комете» де Костер рисует уже ах какую красивую лубочную картинку народной жизни...

А разверзшаяся перед духовным взором де Костера пропасть между бедными и богатыми, между сильными мира сего и нищими духом бедняками материализовалась в «Масках» — новелле куда более мрачной, которую биографы писателя называют «фантазией в манере Гофмана и Жака Калло», а очень искушенному русскому читателю эта сказочка, быть может, местами напомнит и надрывную иронию «Сна смешного человека» Достоевского.

Настоящим литературным эстетом предстает де Костер в новеллах «Сьер Хьюг» — изящно соединяющей жанр восточной повести, в освоении которого писатель, без сомнения, следовал традиции французских романтиков, с подлинно старинной брабантской «байкой» — и «Две принцессы», жизнеутверждающем гимне Воображению, написанном рашным стихом и заставляющем вспомнить сказки Пушкина.

А вот «Призраки» — новелла для него нетипичная. Эта история дружбы со старым художником была так дорога автору, что он перерабатывал ее не раз — сперва написал в стихах и только потом переделал в прозаический этюд, оставив рифмованным лишь первый абзац. Рассказ написан от первого лица, повествователь — сам де Костер. А вопрос, который он задает старику, — тоже из разряда исконно романтических: что такое Гений? Сколько в гениальности сверхъестественного и сколько просто нечеловеческого труда? Именно этот удалившийся от мирской суеты чудаковатый старый мудрец, запросто беседующий со Здравым Смыслом, Радостью Жизни и Меланхолией и крепко связанный с национальными художественными традициями, и должен, по де Костеру, знать настоящий ответ...

Сборник эклектичен. Его тексты писались в разное время, и их объединяет только место действия — живописный Брабант, его суетливые портняжки и рослые кузнецы, рабочий люд и крестьянские девушки и парни, храбрые странствующие купцы и охающие старые кумушки, лицемерные святоши и влюбленные сумасброды — персонажи пестрого ярмарочного театра марионеток под руководством маэстро Шарля де Костера.

Вот каким сложным писателем был молодой романтик, еще только вынашивавший планы создания народной фламандской эпопеи, бродя по улочкам и дешевым тавернам веселого Брабанта. Первое издание «Уленшпигеля» выйдет через четыре года после «Брабантских сказок». И тоже останется почти не замеченным. Писатель с нежной и наивной душой, аристократ духа и поэт своего народа обретет всемирную славу лишь после смерти. Он и в этом останется романтиком — до конца.

Читателям старшего и среднего поколения, хорошо знакомым с «Уленшпигелем», наверняка небезынтересно будет узнать другого Шарля де Костера — увлеченного бурными исканиями своего времени, по-юношески эмоционального, задиристого и сентиментального. Понять, кто были его кумиры в европейской литературе и живописи. Вместе с ним окунуться в уютный и колоритный мир старого Брабанта.

А читатели молодые, чей вкус к настоящему литературному романтизму, увы, крепко подпорчен современными его суррогатами — от Дэна Брауна до Артуро Переса-Реверте, — прочитав «Брабантские сказки», быть может, заинтересуются этим неисправимым романтиком и, открыв потом и великую «Легенду об Уленшпигеле», услышат от «предков», что еще каких-то два десятка лет назад среди читающей русской публики трудно было сыскать человека, никогда о де Костере ничего не слышавшего.

*Дмитрий Савосин*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

**Браф-вещун**

**5**

**Смирненное прошение комете**

**88**

**Христосик**

**99**

**Призраки**

**132**

**Маски**

**144**

**Сьер Хьюг**

**168**

**Две принцессы**

**206**

*Д.Савосин.*

**Фламандские антики**

**215**

### **Костер де Ш.**

**K72** Бранантские сказки: / Шарль де Костер;  
Пер. с фр. Д. Савосина. — М.: Текст, 2010. — 221 [3] с.

ISBN 978-5-7516-0809-5

Шарль де Костер известен читателю как автор эпического романа «Легенда об Уленшпигеле». «Бранантские сказки», сборник новелл, созданных писателем в молодости, — своего рода авторский «разбег», творческая подготовка к большому роману. Как и «Уленшпигель», они — результат глубокого интереса де Костера к народному фольклору Бельгии. В сборник вошли рассказы разных жанров — от обработки народной христианской сказки («Сьер Хьюг») до сказки литературной («Маски»), от бытовой новеллы («Христосик») до воспоминания автора о встрече со старым жителем Брананта («Призраки»), заставляющего вспомнить страницы тургеневских «Записок охотника». На русском языке «Бранантские сказки» издаются впервые.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Бел)



**Шарль де Костер**

**БРАБАНТСКИЕ СКАЗКИ**

Редактор Н.О.Хотинская  
Оформление серии Т.О.Семеновой

Подписано в печать 15.10.09. Формат 70 x 100/32.  
Усл. печ. л. 9,1. Уч.- изд. л. 7,02.  
Тираж 3000 экз. Изд. № 866.  
Заказ № 7759

Издательство «Текст»  
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1  
Тел./факс: (499) 150-04-82  
E-mail: text@textpubl.ru  
<http://www.textpubl.ru>

Отпечатано  
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93